

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

В. Н. Бараков
В. Г. Бондаренко
В. В. Гончарова
В. Г. Захарченко
Е. А. Золотова
Н. А. Ивеншев
В. В. Касьянов
Ю. В. Козлов
В. И. Лихоносов
Ю. М. Лощиц
Ю. В. Лучинский
С. Н. Макарова
З. Прилепин
Н. Г. Пугачёва
Л. А. Сычёва
А. В. Татарinov
Е. В. Хомутов
С. А. Шаргунов

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Юрий Михайлович Павлов

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Н. И. Крижановский

РЕДАКТОР ОТДЕЛА

В. А. Бельтюкова

ДИЗАЙН

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Е. А. Быковченко

КОРРЕКТОР

М. В. Юрченко

РОДНАЯ КУБАНЬ

Литературно-исторический журнал
№ 1 (94) 2022 г.

Адрес редакции:
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.
Тел./факс 259-60-27; e-mail: r-kuban@inbox.ru
Подписной индекс: 31899.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Краснодарского
края, ООО «Газетно-информационный комплекс
«Кубанские новости».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газетно-информационный
комплекс «Кубанские новости».
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
автора публикации.

Заказ № ????

Тираж номера ???? экз.

Свободная цена.

Подписано в печать ??.0?.2022 г. Формат 84х106/16.

Дата выхода ??.0?.2022

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15, 12.

Отпечатано АО «Издательство «Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 106

Журнал зарегистрирован в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Южному федеральному округу ПИ № ТУ23-01250
от 29 января 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ДРАМАТУРГИЯ

МАРТА ЛАРИНА

СПАСИБО, ЧТО ПОМНИТЕ

(разговор А.Г. Достоевской с потомками из XXI века) 6

ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

«ПОКА Я ЖИВ, ЛЮБИТЬ НЕ ПЕРЕСТАНУ...» 18

СЕРГЕЙ ЗУБАРЕВ

«В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ БЛАГОСЛОВИ!..» 22

ЛЮДМИЛА ХОРЕВА

«СТИХОМ СЧИТАЮ ПУЛЬС...»

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (1877 год) 34

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ

ИГОРЬ СИРИЦА

АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИЗМ НА КРАЮ КРАСНОДАРА-КРАСНОДАРА

(Первая четверть XX века) 54

СОБЫТИЯ

ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ КУБГУ 70

В МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО

ЯНА МИШУРОВА

МОЛОДЁЖНЫЙ ВОПРОС В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО 78

ИРИНА КАЛУС

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНСТВА МИРОВ И КУЛЬТУР В РОМАНЕ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕГСТВО ПОСЛАВЫ» 84

ВИКТОР БАРАКОВ

ДВА ИДЕАЛА
(Библейские мотивы в произведениях Ф.М. Достоевского) 90

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 94

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

«УШКИНСКАЯ РЕЧЬ» ДОСТОЕВСКОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЛЮДМИЛЫ САРАСКИНОЙ 100

АЛИНА ТАРАН

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В СПЕКТАКЛЯХ
МХТ им. А.П. ЧЕХОВА 110

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ГАЛКИН

ВЕНОК НА МОГИЛУ ВИКТОРУ ЛИХОНОСОВУ... 116

ЛЮДМИЛА ХОРЕВА

ПРОСТОДУШНАЯ ИГРА. ПАМЯТИ ВИКТОРА ЛИХОНОСОВА 124

ЮРИЙ КОЗЛОВ

РУССКАЯ ИДЕЯ В ПОНИМАНИИ ЮРИЯ СЕЛЕЗНЁВА 130

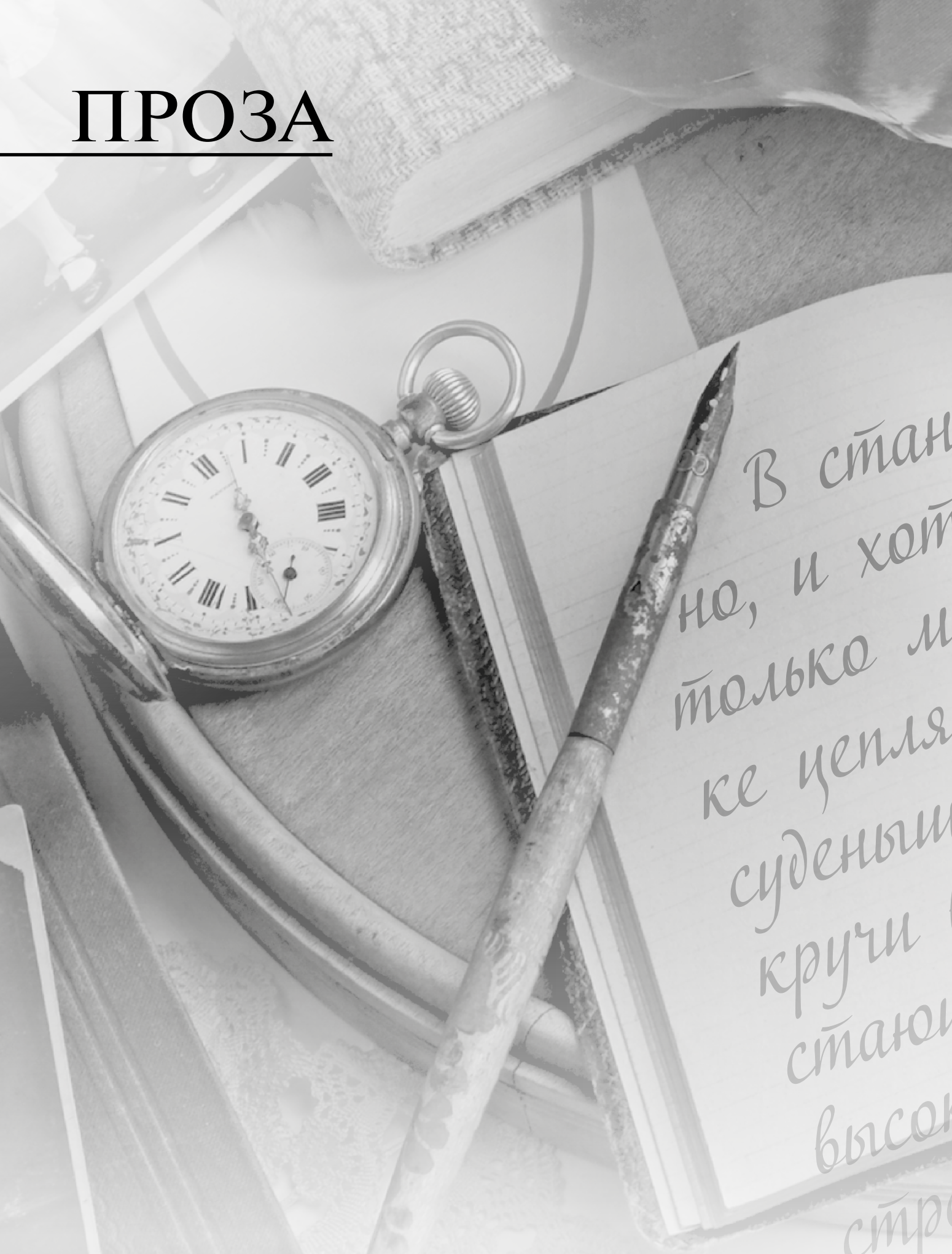
ИРИНА УШАКОВА

МИХАИЛ ЛОБАНОВ И ЕГО УЧЕБНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ РУССКОЕ СЛОВО...» 134

СОФЬЯ ГИНЕЕВА

ТОТ ЯД, ЧТО ОТРАВЛЯЕТ ДУШУ 140

ПРОЗА



В стан
но, и хой
только м
ке цепля
суденый
кручи
стано
высо
стро

ицу вернулись уже позд-
ночь лунная была, за что
не приходилось на линей-
таться: бросало, как на малом
ке в большой шторм. То с
вниз, и по узкому, чуть не до-
цему до сапог Мешню — вдоль
сою мелового берега, потом —
глубительный рывок опять вверх,



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ЧТО ПЕРЕДАТЬ ВОРОНЕ

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, ча-

сто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В ту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть вечного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечеряющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь против обыкновения почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным ходом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая,

что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность... Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно поднимающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал её рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с

детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сблизая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что, если и существует связь между этим миром и не-этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тшась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задатками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари...

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видит.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, приоткрыла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь куда-то не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающего и не желающего знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и на этот раз, свои. Вздыхнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал

собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обидном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и позвонил дочери.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки и ничего бы между нами не случилось.

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку; пострадай, что автобуса до

утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого куда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко.

Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыжки, резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведром в руке прыгает по-воробыному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное от прежних судорожных попыток выковать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело; лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо, хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взгля-

дывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В располовиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были распянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково сустились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать.

Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгнул первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может, узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер, от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города

сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймает себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выпавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подменных. Относительно «подменных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться и приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстояние мне пограничье, откуда не хочется возвра-

щаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я», — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение. Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

Наутро после поездки в город я поднялся поздно. Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза... Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я несколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым бле-

клым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя... Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и теперь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, вынося в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испускающая благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей, густо коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка... Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоём одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил. Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навывдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то... Это направленное, но еще блуждающее

внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощущью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг неведь с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола...

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бесцельно — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная, во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать, голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуть в себе от чужого простора день, и глохли, увязали в плотном воздухе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из ка-

литки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходит он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало... и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застаивающийся... Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде, или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, из страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подниматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли, и оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготавливаемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться

небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно. Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня, с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожидающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении, — или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница?

Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились.

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволит. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаваясь в какое-то общее чувствовалище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствовалищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера, а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не

терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью, в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ничуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю

сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне...

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготавлилось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой. ■

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась... пока хватились, выхватили из карусели уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую «Ниву», и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет — сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество... прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули за-ради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок — все за-ради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером — не всегда... Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстаёт. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с ленцой, то ли с холодной. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а

видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как неоконченное что то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилося со своего сияния электричество — и опять увидели небо, запотыгивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой после заката долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним, мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына. Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?

— А-а, все надоело...

— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что это вы такие расхлябы без интереса к жизни?

— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть...

— Интерес есть — скорей бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж — надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут... не по той моде. А по своей-то моде... ну и что — хорошо выходит?

— Надоело. Спи, бабуля.

— Так ежели бы уснулось... — Наталья завдыхала, завдыхала. — Ну и что? — не отступила она. — Не тошно теперь?

— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?

— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: ероичество у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!

— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

— Куда проходили?

— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

— Это кто ж такая? — Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегает за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — Все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда-ка-ак... Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох тут у нас. Прямо ох-ох-ох...

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

— А почему говорят: целомудрие? — спросила

вдруг она. — Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

— Слышу. Это не про вас.

— А ты скажи.

— Самое мудрие, — сердито начала Наталья. — С умом штанишки не скидывают. — Она умолкла: продолжать, не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то. — И подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подходящее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тут, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя выросла, всюю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронуся: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой, он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

— Что это ты в рифму-то?! Как заучила! — перебила Вика.

— Что в склад? Не знаю... под душу завсегда поется.

— Как будто раньше не было таких... кто не в первый раз.

— Были, как не были. И девьи детки были.

— Как это?

— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До срока. Были, были, Вихтория, внученька ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были такие нетерпии. И вза-муж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружкой поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просются, а не ты просишься за-ради Бога. А она

— со страхом идёт, со скорбию. Чуть что не так — вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния...

— Трения?

— И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики...

— Ой, да кто сейчас на это смотрит, — с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

— Ну, ежели не смотрите — ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится, и только. Как и во всяком недозрелом плоду кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъезлозилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка заезбалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и замороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

— Господи помилуй...

— Что там, бабушка? — не поняла Вика.

— Везде там, внученька, Господи помилуй...

— Ты что — больше ничего не видела?

— Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабы:

— А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

— С дедушкой? Что было?

— Ну, как в первый раз сходились? Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось — поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

— Мы невенчанные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церкви посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешла старое платье под новое — вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в шестнадцать годочков, как тебе... Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором... — Наталья сбилась и умолкла.

— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.

— А что с дедушкой... Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасання. Я его до каждой чутельки знала.

— У вас и способов не было...

— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала... Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без докторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про них знать не знала.

— Это правильно, — подтвердила Вика. А уж что подтверждала — надо было догадываться. — Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

— Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любовью.

— Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится... та женщина ценится, которая целе-устремленная.

— Куда стреленная?

— Не стреленная. Целе-устремленная. Понимаешь?

— Рот разинешь, — кивала Наталья, — так и стреляют, в самую цель. Об чем я с тобой всюю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устремленная — это значит, идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда острая. Дадут ей на обнюшку эту, цель то, она и взвывается. И гонит, и гонит, свету невидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

— Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

— По тиливизиру видала, — смиренно отвечала Наталья. — К Наде, к соседке, когда схожу вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то-все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?

— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целе-устремленную... Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, слобная. Доброе сердце любит такую телу.

— Все не о том ты, — задумчиво отвечала Вика. — Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спинку, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звезд-

ный натек застлал всю комнату, чуть пригибая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

«Не о том, — согласилась с внучкой Наталья. — Хочешь не хочешь, а надо сознаваться: все тепери не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится — страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено...»

— Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, — с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

— Про дедушку-то? — вспомнила Наталья. — Ну так, а что про дедушку. Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила...

— Как не тот? — поразились Вика.

— Ну, а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядя твои Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего то, он же, Николай, мне сюда послал.

— Как сюда послал? Ты что говоришь то, бабушка? — Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. — Ты Расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад, и неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городской. Подозревают, что деревенской

бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — И голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. — И как это вообще можно прислать?

— Вот так, — подтвердила Наталья и покивала себе. — Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит... знаешь Дусю?

— Ну.

— Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а выиграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться... охальница, рюмочница... Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: «Наталья, я в городе была, окрестилась. Потеперь спасаюсь». — «Тебе спастись до-ол-гонько надо, говорю ей. — Не андел».

— Бабушка! — вскричала Вика. — Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

— Ворочаюсь, ворочаюсь, — согласилась Наталья, вздыхая. — Я тоже стала — куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый... ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если поранешному говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит... А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

— И чем ты хвалилась?

— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту

пору не избита была, из себя аккуратная, улыбистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась... Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики...

— А папы, значит, тогда еще не было? — пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

— Папы твоего не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал — поднялся. Я, говорит, вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, говорит, писал вам, как было... получали мое письмо?

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли так называется. Как снял шинельку — худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз контуженый. Контузия получилась хуже раны, он никак не мог ее в до-кончателности снять.

— Ну и что? — не выдержала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас — раз, и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку... третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей... это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну, и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отве-

ла я его туда, забрала ребятишек... они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Присмотрела, как уходила: отец за-ради такого гостя из запаса бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ. Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

— На другой день он пришел с утра, — без подталкивания продолжила Наталья. — Я, говорит, вчера не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, говорит, меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю. Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит... он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай придти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается... это у него от контузии... как за нервы заденет, голову поддегивает... не так чтоб сильно, но заметно. И говорит... Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лучше и добрей, чем ты. А тебе от него завещание, что будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села...

— Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? — спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

— «И ты за-ради этого поехал?» — спрашиваю его. «Поехал». — «Отец, мать есть у тебя?» — «Мать померла, отец есть». — «Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?» — Молчит. —

«Что за приказания такая лютая?» — «Что в ней, говорит, — лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить». «Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на что тебе брать чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок непересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, старше тебя». — Стала спрашивать про годы так и есть, на три годочка я старше. — «Ты, видно, — говорю, — хороший человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай». Он постоял, постоял и ушел.

— Ушел?! — поразились Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?

— Ушел, уехал, — подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. — А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежду привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

— Да какая любовь?!

— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?

— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: неровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рассказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше.

— Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстанутся, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

— А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь...

— Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная...

— С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

— Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталья не без похвальбы. — Но я говорю: он был контуженый, больной. А контузия такая: ляжет — и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну, вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

— И ты его за это полюбила?

— Что ты все: полюбила, полюбила... — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы любите, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев, это уж вода побежала по весне, смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяином. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так каждому. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизнь.

— Он что — лучше был первого дедушки? — спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в постель: история кончилась.

— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — сла-

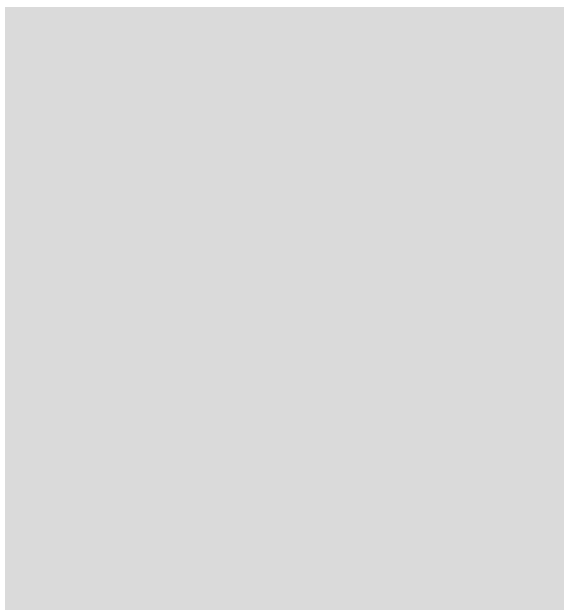
бо возмутилась Наталья. Так я тебе скажу, внученька. Я древняя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилась вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горушки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну, так, а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь... молоденькая, без подумы говоришь... Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

— Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внучкой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизнь — спаси и помилуй... Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья гляделась: нет, беспокойно засыпала девчонка — подергивалась, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость. ■



ЮРИЙ ПАХОМОВ

(Юрий Николаевич Носов)

Военно-морской врач, член Союза писателей СССР, России с 1979 года, автор более двадцати книг, многих журнальных публикаций. Отдельные произведения переведены на языки ближнего и дальнего зарубежья, экранизированы. Лауреат Международной и Всероссийских литературных премий.

ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ

Памяти Светланы

1

Сергей Иванович Лыткарин после смерти жены уехал в Козельск. Сорвался внезапно, набил внедорожник продуктами, взял палатку, портативную газовую плиту с запасными баллончиками, складной стул, будто собирался на рыбалку, попросил соседей присматривать за квартирой и укатил.

Почему Козельск, он и сам толком не знал. Лет тридцать назад он с бригадой художников подрядился на реставрацию Преображенской церкви, что неподалеку от симпатичного старинного города. Настоятель церкви протоиерей Иоанн разместил трех художников в деревне рядом с церковью, а его, Сергея, самого молодого, поселил у вдовы в избе у самого озера с примечательным названием — озеро Любви.

Сергей стал рисовать в третьем классе и с третьего класса решил, что станет художником. Мать отвела его в художественную студию при Доме пионеров, там он не прижился, скучно было ему рисовать кубы, горшки с цветами, бюсты римских ученых. После десятилетки легко поступил в Строгановку, поразив приемную комиссию яркими акварелями. Особенно ему удавались рисунки на мокрой бумаге, им заинтересовался набирающий силу акварелист Сергей Андрияка, помог организовать выставку в Доме художников, наделавшую много шума. Лыткарина еще студентом приняли в Союз художников.

Обитал Сергей на Кооперативной улице в пятиэтажке времен тридцатых годов. Жили скудно, мать работала лаборанткой на Каучуковом заводе, отца не помнил, да и как мог помнить — во время войны отца ранили во время завершающей бит-

вы под Москвой, он вернулся домой инвалидом, в сорок шестом году умер от ран. Двухкомнатную квартиру отцу выделили как инженеру-технологу Каучукового завода. Судя по фотографиям, Сергей стал его копией, такой же рослый, голубоглазый, с гривой курчавых волос. Мать говорила, что Сергей и улыбается как отец, белозубо, приветливо, весело.

Студенческие годы прошли, как праздник, ранняя известность, бросающая внешность, умение играть на гитаре, приятный голос — в моду входили барды, в стране бушевала «оттепель», отбоя от девчонок не было. А потом наступила осень, а за ней и «застой».

Работы Лыткарина маслом разругали, он обиделся, бросил живопись, устроился художником-оформителем в «Детгиз» — получилось. Появились деньги и стал попивать. Заболела мать, ее лицо на скулах обтянулось, она жаловалась на боли в животе, а тут пришла повестка из военкомата. Гражданин Лыткарин призывался отслужить в армии, призвать хотели после второго курса, но Сергея отбил декан, сейчас отбивать было некому. Людям с высшим образованием служить год, чаще всего, по своей специальности. Мать сходила в поликлинику, прошла обследование, ничего особенного не нашли, так, обычный гастрит. Знакомый терапевт предлагала лечь в стационар. Мать отказалась. Как можно? Сына забирают в армию, а ей с пустячным гастритом валяться в больнице.

Когда мать провожала Сергея на призывной пункт, она не плакала, но взглянула на сына как-то необычно пристально — это запомнилось. Еще резануло по сердцу, что пальтишко на Наталье Ильиничне старенькое и вообще одета она бедно. И это впечатление долго мучило его, и сни-

лась мать почему-то старушкой с палочкой в руке, улыбалась ему приветливо и махала рукой.

Сергея направили служить в Ленинградский военный округ, после карантина отправили в армейскую многотиражку под Выборгом. Редакция крохотная: три офицера, женщина-редактор, она же корректор, и трое солдат: два верстальщика и художник. Сергей оформлял газету, боевые листки, быстро стал сержантом. Выезжал в воинские части, готовил корреспонденции. На него обратил внимание начальник политотдела армии, предлагал остаться служить, обещал лейтенантские звезды. Мать писала теплые письма, год пролетел незаметно, Сергей готовился к демобилизации, как вдруг пришла телеграмма от Клавы — подруги матери: «Сереж приезжай, мать положили в онкологию дело серьезное. Клава».

Главный редактор многотиражки майор Лыткарин, глянув на текст телеграммы, сказал: «Ты ведь отслужил, считай. Оформляйся, поезжай срочно, до Питера на редакционной машине и на самолет. Деньги на билет я тебе дам. Мать — это серьезно».

Быстро уехать не вышло, но через неделю Лыткарин был в Москве, поспел на похороны. У матери остановилось сердце. В гробу ее было не узнать. Лежала сухонькая, желтолицая старушка, та, что являлась ему во снах. Хоронили втроем: Сергей, Клава ее муж Николай Германович. Положили мать рядом с отцом на Ваганьковском кладбище.

Сергей после похорон запил. Пил один, на телефонные звонки и стук в дверь не отвечал, пил только водку, пытаясь залить горечь, пока Клава не вызвала милицию. Вскрыли дверь, и Сергея в чувство приводил нарколог.

Лыткарин отошел. Жить как-то нужно было дальше. Тогда-то он подрядился с художниками-реставраторами на работу в подмосковных церквях и побывал под Калязином на берегу озера Любви.

2

На складном велосипеде, который всегда брал в поездки, с тяжелым рюкзаком за плечами, Сер-

гей катил по извилистой дорожке среди полей и березняка. Добрался быстро. Дом поразил его своей основательностью, крепко, по-северному сбитый, на высоком фундаменте, скроенный на долгие годы. За домом на берегу углядел баньку, неподалеку сараюшки для дров и скотины. Остановился, стянул с плеч рюкзак. Постучал в калитку.

На крыльцо вышла молодая женщина в ладном сарафане, крепкая, плечистая, волосы собраны в хвостик, стрельнула в Сергея синими глазами, подбоченилась, сказала певуче:

— Никак постоялец приехал? Батюшка давеча сказал: «К тебе, Алевтина, самого молодого поселю».

Сергей улыбнулся:

— Вроде того.

— Так что стоишь? Драндулет дак оставь в сенцах, а с мешком давай в комнату.

Сергей поставил велосипед в сенях, где по углам висели пучки травы, источающие дурманящий запах, и с рюкзаком прошел по широкому коридору, замер на пороге: такой чистой, такой уютной она была. На тумбочке в банке стоял чайный гриб, накрытый марлей. Этот гриб знаком был Сергею с детства. Кровать — старинная с блестящими шарами на спинке.

— Я ждала тебя, баньку истопила, да с веничком — красота. Попаришься, потом бултыхнешься в озеро. Всю усталость враз снимет.

— У вас магазин далеко? — спросил Лыткарин.

— Сегодня не работает, санитарный день. Рано утром тараканов морили. Только зачем? В магазине пустые полки, помидоры маринованные, да турецкий чай. Давно завоза не было. Все есть. Бутыль самогона, закусь загодя заготовила.

— Сдаюсь! И молоко есть?

— Залейся. Корова-то своя. В закутке кабанчик хрюкает. Мы натурой живем, своим хозяйством. А ты думал, как в Москве? Иди в баньку, не то выстудится, а я на стол накрою. А звать тебя как?

— Сергей.

— Хорошее имя. А меня Алевтиной кличут. Ну, ступай.

Попарился Сергей всласть, с купанием в озере решил повременить, сидел в предбаннике, вытирался полотенцем, без стука отворилась дверь, вошла Алевтина.

— Ну как?

— Превосходно.

— Волос у тебя курчавый. А глазища — смерть девушкам. Обсыхай и приходи. Накрыто.

«Ничего себе семечки», — подумал Сергей.

Стол поразил его, чего только не было: квашеная капуста с клюквой, грибы маринованные, грибы соленые, селедка, пироги с поджаристой корочкой, — всего не перечислишь, в центре стола бутылка самогона, заткнутая деревянной пробкой.

— Да-а, глаза разбегаются! — только и сказал Сергей.

— Наливай, Сережа, а то я здесь одна кукую.

Сергей после первого стакана внезапно захмел. Устал с дороги, да после баньки... Шибануло. Перевел дух, спросил:

— Дом, я смотрю, на поморский лад. Я студентом в Холмогоры ездил, такие ж дома.

— Север — родина моя. Архангельская область, пригород Архангельска — Соломбала. Прадед старовером был. А дом отец ставил. Отец — механик, золотые руки, маманя — украинка. Из учителей. Север не по ней, болеть стала. Отец и перебрался сюда. Лесоматериалы наши, архангельские. Приятель отца, директор лесобиржи, поставил, отец хорошо зарабатывал. На севере везде вода, в Соломбале речка Соломбалка, а Северная Двина — заглядишься. Оттого и место для дома выбрали — на берегу озера. Пока дом ставили, мы в палатке армейской жили. Отец устроился в МТС совхоза механиком, вскоре и директором стал. Любую рухлядь мог поднять, кузню современную поставил, мастерскую станками оборудовал. Связи у него были хорошие. Мужик из поморов, крижистый, сильный, сносу не было, а погиб с мамкой в автомобильной катастрофе. Поехали они в Мо-

скву за ширпотребом, на шоссе их автобус лоб в лоб столкнулся с фурой, водитель уснул... Ладно, что вспоминать. Отболело. Наливай, что сидишь?

Из открытого окна слышно было, как садятся на поверхность озера, крикают утки.

У Сергея заплетался язык.

— А что же муж?

— Муж — объелся груш, — Алевтина вздохнула. — Мне восемнадцать было, когда одна осталась, что делать — без понятия. Хотела в техникум поступить. А на что жить? Вот и пошла в доярки, я коров люблю, они любовь чувствуют. В доме хозяйство стало разваливаться. Директор совхоза к отцу относился с уважением, устроил меня заведовать сельпо. В школе я отличницей была. Вот и тружусь и поныне в своем магазинчике. А муж что? Парень неплохой, видный, только выпивал очень. Раз драться полез, только со мной драться — пустой номер, я поморка, в отца, между глаз ему звезданула, да с крыльца выкинула, а вслед за ним его барахлишко — не надо нам такого. Нас быстро развели. Подобрала его одна бабенка, тоже пьющая, вот они до черты и дошли. А вскоре трактор его в овраг наворачнулся. Погиб Анатолий по пьяни. Жаль его. Ты чего так окосел? Пойдем я тебе постель разберу. Не надо тебе самогон пить, да еще первач, водкой обойдешься. В сельпо водки полным полно.

На третий день вечером после ужина Алевтина сказала Сергею, глядя прямо в глаза:

— Ты мимо моей спаленки не проходи...

Так началась сладкая жизнь. На работу Алевтина уходила раньше его, в кухне Сергей находил записку: «Ну, ты и спать горазд. Сырники подогрей на плитке. И приходи пораньше».

Реставраторы потешались над ним:

— Ухайдакает тебя вдовушка. Смотри, оженит.

— А что останусь, буду коровам хвосты крутить. Места вокруг знатные, а состарюсь, уйду в монастырь.

— Вот-вот. Монах из тебя в самый раз!

Однажды, сидя в кровати, Алевтина сказала:

— Скоро работа закончится и ты, постоялец, уедешь, а я останусь. Хороший ты мужик, на душу мне лег. Дак, ладно... Приезжай, как захочешь. Молчишь? Ну, молчи, молчи.

Сергей встал, распахнул окно.

Осень постепенно вступала в свои права, перестали квакать лягушки, по черной поверхности озера стлался туман, закручиваясь в кольца. На озеро то и дело садились утки, оставляя белесые следы. В тишине слышно было, как в тумане покрикивает одинокая птица. Ему, городскому человеку, отвыкшему от природы, в этот поздний час все вокруг казалось чужим и мертвым. Камыши неприятно скреблись на легком ветерке, низкие облака тяжело нависали над озером и казалось, что все накрыто тяжелым резиновым матрасом.

Уехал Сергей спешно. Даже проститься толком с Алевтиной не успел, у церкви ждала грузовая машина, которая должна подбросить художников к автостанции. Оставил на столе деньги — плату за постой, запер дверь, а ключ положил под половичок на крыльце.

3

Изменился Козельск — это неприятно поразило Сергея Ивановича, изменилась и деревня, появились новые дома, каменные коттеджи, дом Алевтины потемнел, но все так же твердо стоял на земле, цела была и банька, и хозяйственные постройки. Он остановил машину у калитки и, чувствуя, как глухо ворочается сердце, постучал в калитку. Дверь дома распахнулась, словно его ждали, на крыльцо вышла молодая женщина в джинсах, курточке. Она толкала перед собой коляску, в ней сидел мальчик, вялый, пастозный, с признаками синдрома Дауна, мальчик улыбнулся, пустил слюну. Женщина с удивлением смотрела на Сергея Ивановича, на его огромный внедорожник припаркованный за забором.

«Наверное, дочь Алевтины», — подумал он. Открыл калитку и сказал:

— Давайте помогу.

Женщина улыбнулась.

— Спасибо, я справлюсь. Муж сделал пандус. Я привыкла.

Она ловко скатила коляску, мальчик все улыбался и пускал слюни. Женщина вытерла рот мальчику платком и спросила:

— Вы чем-то интересуетесь? Дом не продается.

— Нет. Просто я хотел спросить, лет тридцать назад я жил в этом доме у хозяйки, мы реставрировали Преображенскую церковь. Звали ее Алевтина. Вы ее дочь?

— Тетя Аля? Нет не дочь. Она умерла лет семь назад. Я работала поселковым фельдшером и ухаживала за ней. В награду она отписала мне дом. Все оформлено юридически.

— Спасибо.

У Сергея Ивановича сжало сердце. Он торопливо сел в машину, достал из бардачка пилюли, сунул одну под язык и откинулся в кресле.

...Заработанных денег за реставрационные работы хватило Сергею на два месяца, сунулся в «Детгиз», знакомая редакторша сказала: «Сережа, у нас сменилось руководство, работу дают только своим. Черт знает, что происходит. Я попытаюсь тебе помочь. Что прижало?» Сергей кивнул.

И занять не у кого. К Клаве обратиться нельзя — должен и ей, друзей рассыпало по стране, не сыщешь, да среди них нет ни одного успешного. Все перебиваются с хлеба на водку. Продать тоже нечего — ни золотишка, ни камешков, все материнские цапки ушли на похороны.

Как-то на станции метро «Парк культуры» встретил главного редактора многотиражки майора Лисина. Обнялись как старые друзья. Лисин глянул на Сергея, сказал:

— Что-то ты сдал, Сережа. Похудел, осунулся. Болел?

— Нет. Работы найти не могу.

— Такой художник! Да с дипломом Строгановки?

— Не нужен. С художниками-оформителями — перебор в престольной.

— Погоди, меня ведь в издательство Мини-

стерства обороны перевели. В отдел художественной литературы. Нам позарез нужен художник. Ты подойдешь. Я поговорю с начальником отдела капитаном первого ранга Платоновым. Мировой мужик. Давай твой телефон и возьми мою визитку. На днях позвоню. Сережа, ты похоже на мели? Я получил гонорар за очерк в «Красной звезде», пятьдесят карбованцев. Отдашь когда разбогатеешь. И не хмурься. Все наладится. Я квартиру получил, прошу быть на новоселье. Ну, пока. Тороплюсь.

Чудеса все-таки случаются. Сергея взяли на работу в издательство, а на новоселье за столом он оказался рядом с Ольгой Константиновной Ягнитской. Сергея обожгло, красавица: высока, стройна, но почему одна, почему нет на правой руке обручального кольца? А руки-то, руки! Княгиня! Куда тут свинье в калашный ряд. Потому весь вечер был холоден, вежлив с Ольгой, в меру ухаживал. Отметил, что Ольга пьет коньяк и не пьянеет, сам сдерживался, памятуя о пагубной страсти.

Ольга обернулась к Сергею, сказала:

— Мне нужно уйти, дома больной отец. Не могли бы вы меня проводить? Час поздний. А у нас подъезд со двора, нужно пройти под мрачной аркой.

— Конечно.

— Уйдем по-английски, — Ольга улыбнулась.

На проспекте Жукова мел снег. Сергей поймал такси. Ольга сказала:

— Дом на углу набережной Москва-реки и Третьей Фрунзенской.

Сергей улыбнулся:

— Мои места, от Третьей Фрунзенской до моей квартиры двадцать минут пешком. Я на Кооперативной улице живу.

— Не близкие, но соседи, — сказала Ольга и умолкла, словно чего-то испугавшись, и молчала всю дорогу, только у подъезда огромного дома, отряхивая с шубки снег, тихо сказала:

— Спасибо, Сережа.

И ушла.

Мог ли Сергей предположить, что в этом доме он проживет почти тридцать лет, а тогда, в тот вечер, чувствовал обиду, сердился на себя, что был холоден с Ольгой. И пока шел домой, пытался вспомнить Алевтину, но образ ее гас, мерк в сутеме — улицы освещались плохо.

На другой день Ольга не пришла в издательство, по скорой отца отвезли в госпиталь имени Мандрыка.

— Что за госпиталь такой? — спросил Сергей у Лисина.

— В основном для высшего комсостава. Отец у Ольги Константиновны генерал-лейтенант.

— Ничего себе! А муж?

— Она не замужем. Так бывает. Она ведь не только красавица, но и умница. Умницам труднее выйти замуж, запросы особые, а нам, мужикам, подавай не слишком умных, но добрых, хороших хозяек и чтобы за детьми смотрели. У офицеров такие жены сплошь и рядом. Ты что, запал на Ольгу?

— Еще не знаю.

4

Он и в самом деле не знал. Ольга нравилась ему, но он не ведал, как к ней подступиться. Первый раз в жизни у него были такие сложности с женщиной. Ему казалось, что Ольга умышленно держит его на дистанции. Но нет. Она была тепла к нему, но как-то по-товарищески, они вместе обедали. Столовая в Воениздате была достойная, даже с баром, где можно было выпить кофе, а знакомым барменши наливали чего и покрепче, и кормили неплохо. Кофе с Ольгой пили, а больше ни-ни.

Понемногу он узнал о ней кое-что от словоохотливых девиц — сотрудниц издательства, которые сами проявляли к Сергею повышенный интерес. Ольга по матери дворянка, белая кость, чуть ли не княжеских кровей. Основная страсть — путешествия, уже побывала в ГДР, в Средней Азии, на Байкале, знаток исторических мест в Москве,

в отпусках подрабатывала гидом. Не из-за денег, папа-то генерал. А так просто, чтобы лучше узнать Москву, изучает церковную архитектуру. А зачем? К мужчинам особого интереса не проявляет, но, как говорится, в тихом омуте...

Как-то Сергей спросил Ольгу: «Как здоровье отца?» Она нахмурилась: «Он молодец. Борется. Два инфаркта — оба после смерти мамы. Он намного старше был ее, очень переживал. Сгорела за два месяца — острый лейкоз. Отец слабеет, пришлось нанять домработницу, чтобы присматривала. Мне стало легче».

Сергей восстановил свои отношения с «Детгизом», его рисунки понравились шефу, подработки принесли деньги. Лыткарин купил на рынке в Лужниках джинсовый костюм — очень шел к его глазам, мокасины, несколько пестрых маек, словом, прибрахлился — не подействовало, решил уйти из издательства. Помог случай.

Зашел как-то в кабинет Ольги показать оформление книги, которую она редактировала. У нее сидел автор — пожилой вице-адмирал с красным, раздосадованным лицом. Сергей замешкался: «Зайду позже, я с оформлением книги». «Посиди. Мы с Василием Аркадьевичем заканчиваем, остался один вопрос снять».

— Так вот, уважаемый Василий Аркадьевич, эсминца с таким названием нет.

Адмирал стукнул кулаком по столу:

— Как нет? Я этим кораблем командовал, головной в серии корабль...

Ольга достала из шкафа справочник и положила перед адмиралом. Лицо у адмирала пошло пятнами.

— Старый дурак, название корабля, которым командовал, забыл. Что делается?

— Не огорчайтесь, товарищ вице-адмирал, книга ведь получилась. Все, сняли досадную неточность.

— Дочка, как тебя благодарить? Таких неточностей в рукописи полно. И ведь все заметила!

Когда адмирал вышел, Ольга спросила:

— Ты что надутый какой-то? Обидел кто? Дай-ка рисунки. Да-а, ты — талант. Жаль, что такое оформление досталось слабой книге. Я с ней замучилась.

— Пойдем завтра в Серебряный бор на лодке кататься?

— А что, пойдем. Отец меня отпустит, к нему как раз домработница приходит.

— Заметано.

Дальше — фрагменты.

...Они идут по тропинке в Серебряном бору, где-то рядом крикают утки, день выдался солнечный, над озером воздух дрожит в испарине, народу в этот час в парке мало.

— Где же лодочная станция? — Сергей спрашивает у мальчишки, несущего банку с головастиками.

— Да вот она! За этим мостиком, — говорит мальчишка.

— Точно за мосточком, — Ольга оглядывается. — Мы студентами сюда приходили.

Лодочник, вихрастый, веснушчатый парень в шортах идет по причалу. Сложен, как молодой бог.

— Выбираете лодку? Я бы взял эту, килеватую, на ходу резвая. Как раз для двоих. Советую.

— Следуем вашему совету. — Ольга снимает сабо, ловко соскакивает в лодку. — Давай, Сережа!

Сергей отталкивает лодку, пахнет водорослями, болотом, он стягивает футболку, ставит весла в уключины. Давно не греб, перед Ольгой нельзя опозориться. Нет, навык сохранился, он разворачивает лодку. Ольга расстегивает белый сарафан, Сергей сперва отводит глаза, нацеливает нос лодки на центр озера, затем смотрит на Ольгу. Она совершенство: голубой с золотом купальник отсвечивает на солнце, от восторга замирает сердце.

— Остановись. Вода здесь чище, — говорит Ольга, становится на корму и соскальзывает в воду, без всплеска, плывет кролем, ему не угнаться за ней. «А ведь я люблю ее», — отстраненно думает он, все, что было раньше — забыто, существует

только эта женщина». Они долго купаются в теплой воде, по очереди забираются в лодку, солнце в зените. Парк постепенно заполняется людьми.

— Есть хочется, — говорит Ольга.

— И выпить. Но я не знаю здесь, ни одного ресторана, даже забегаловки.

— Давай так, отвернись, я сейчас переоденусь, тебе бы тоже неплохо сменить плавки, простудишься, и поедem в Парк культуры, поближе к дому. В парке есть ресторан.

— Принимается все, кроме плавков, сменных нет. Ничего просохну.

Раскаленный автобус, прохлада метро, снова душный троллейбус. Знакомые ворота. Сколько же времени он, Сергей, здесь не был. Не вспомнить. После выпускного вечера в школе?

Выстуженный кондиционером зал ресторана, они с трудом находят пустой столик, сиреневый воздух, улыбчивый официант, шелест голосов, музыка — все как бы не на самом деле, вроде видения, и тут Сергей слышит свой голос: «Оля, я люблю тебя, люблю — правда. Выходи за меня». И тут же слышит в ответ: «Долго ж ты собирался, Сережа. Конечно, милый». Хлопок и в воздух летит пробка от шампанского.

Сергей поцеловал Ольгу в первый раз в сумеречной, у пруда, аллее. Так началось счастье!

Еще фрагменты.

...Поездки на автомобиле по древним, наполовину разрушенным монастырям, бывшим барским усадьбам в Подмоскoвье, Владимирской области, ночевки в деревнях, дивные старики и старухи — все это ложилось на бумагу, — рисунки крандашем, тушью и, конечно, акварелью. Поездка на «Волге» в Крым дала новые краски, то, что замерло в Сергее, наконец, прорвалось, тронулось с места, захватило его, целиком. Он словно ожил.

— Мужаешь, Сережа, — сказала Ольга, — у тебя даже взгляд стал другой.

Но тут грянула «перестройка». Первые радости, последующие огорчения.

«Наконец-то поднялся «железный занавес»,

можно будет съездить за границу. У нас с тобой есть средства. Отец оставил. Махнем?» — сказала Ольга. И махнули: Польша. Германия. Франция, а главное — Париж — мекка для художников.

У Сергея родилось ощущение, что когда-то он был в Париже, так все было знакомо, близко сердцу. Возможно, во время какой-то прошлой жизни. Особенно ему понравился Париж в дождь, он ухватил его цвет — серебряный с голубым. Дома с небольшими балкончиками и на каждом цветы. Первые дни они пропадали в музеях: Лувр, Орсе, Оранжерии, Родена. Наскоро перекусив, бродили по набережным Сены, как-то их занесло на знаменитую набережную Орфевр, знакомую по романам Жоржа Сименона, съездили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, над кладбищем зависло ярко-синее небо, где-то возились, потрескивали птицы, над голубым куполом кладбищенской церкви Успения Богородицы лежало белое, непорочное облачко. Они стояли у могилы Ивана Алексеевича Бунина, и вспоминал строки великого мастера: «Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — верный признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь...».

А по телевизору накануне отъезда в Париж показывали обезлюдившую деревню в Тверской области с одичавшими от паленой водки мужиками, которым вряд ли суждено дожить до сорока. Россия, двадцатый век. Как тут не опечалиться?

На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа захоронено более десяти тысяч русских. Тут и военные, и государственные мужи, и деятели культуры, выброшенные во Францию волнами эмиграции. В разных местах кладбища упокоились писатели Иван Бунин, Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Гайто Газданов, Алексей Ремезов, Иван Шмелев, Тэффи, философ Николай Бердяев, балерина Матильда Кшесинская, экономист Петр Струве, князь Феликс Юсупов и многие другие. Есть и более поздние захоронения: писатели Виктор Некрасов, Владимир Максимов,

кинорежиссер Андрей Тарковский, танцовщик Рудольф Нуреев.

А в России между тем происходили грозные события, обрушился рубль, хорошо Ольга успела перевести семейные сбережения в конвертируемую валюту, ГКЧП, митинги в Лужниках и на Манежной площади, опустели магазины, за водкой очереди и, как знамение, расстрел Белого дома из танковых орудий. Затрещал и рухнул несокрушимый «Воениздат», доллары таяли, художники бедствовали.

Сергей приладили писать копии с французских импрессионистов, писал маслом, без любви, на продажу, но получалось недурно, нувориши охотно скупали его картины, потом перешел на московские пейзажи: дворiki, церкви. Появилась своя манера, теперь картины скупали посольства, охотно, не торгуясь, брали иностранцы. У Сергея появилось свое место в подземном переходе у Парка культуры. Он несколько раз выставлял свои картины в филиале Третьяковки у Крымского моста, его заметили, появилась пресса, вышла статья в зарубежном журнале, его интервью правила Ольга, помогала готовить статьи. Он как-то сказал ей: «Ты чаша, которую нельзя выпить до дна». Ольга улыбнулась: «Старый комплимент. Где слямзил? Хорошо, что не назвал меня своей музой, — это уже пошлость. Просто ты сам выписался, сам вошел в силу». Он внимательно прислушивался к словам жены, брошенным вроде как вскользь. Случалось, говорила прямо, как есть — не обижался.

От заграничных поездок у Сергея все смешалось в голове в одну красочную картину, а у Ольги все легло на полочки, сфотографировалось. Она пояснила Сергею:

— Понимаешь, ты человек творческий, все впечатления отложились у тебя в подсознании и лежат там целехонькие, появится тема, и они явятся тебе в виде картины, как на видеоплеере. Разве твои сценки, что ты пишешь для продажи, не несут ощущения поездки в Париж? Ведь ты

точно схватил серебристо-серый с голубизной цвет дождливого Парижа.

— Ну, Париж — это особая статья. Мне кажется, в прошлой жизни я там побывал. Приехал, как домой. А «Мулен Руж»? Я даже заметил за столиком художника Дега, гений пил кофе и кивал танцовщицам. А ведь он давно умер.

— Ну, а я не заметила. Для меня Париж просто красивый город. Зато я запомнила название улиц, кафе, китайского ресторанчика, где мы с тобой ужинали. Так что обращайся.

Ольга оказалась права. А тут подоспел заказ из Египетского представительства в Москве, нужно написать что-нибудь египетское, но, конечно, не пирамиды. И Сергей вспомнил все: и перелет в Египет, и поездку в автобусе через Аравийскую пустыню, и наконец, Каир. Циклопические пирамиды не задели воображение Сергея, Египет для него открылся в момент, когда они сели в Трансафриканский экспресс и махнули в сторону Асуана. И особенно, когда их разместили на роскошном пятизвездочном теплоходе «Мисс Уорд». Теплоход был из сказки: с широкими трапами, поручнями резного дерева, просторными холлами, рестораном с величественным пожилым мэтром, похожим на голливудского актера Омара Шарифа.

Наконец сложилась русская группа, в основном молодые, занятые друг другом, симпатичные люди. Они были хорошо одеты, свободно говорили по-английски. Это уже была новая генерация молодежи: хорошо оплачиваемые банковские служащие, сотрудники крупных фирм. Сергей и Ольга подружились с молодой четой тележурналистов из московского отделения бюро агентства «Рейтер»: Адланом и Олей. Они специализировались по горячим точкам: Афганистан, Чечня. Все дни провели на Дубровке, перед комплексом, захваченным чеченскими террористами...

Вечером молодые друзья уговорили их съездить в Карнакский храм на шоу «Свет и звук». Сергей поехал из-за жены, уж очень ей хотелось

побывать в храме ночью: «Об этом шоу все говорят, нечто грандиозное. Правда, представление ведется на английском... Ничего, что не поймем, ребята переведут», — сказала Ольга.

Взяли такси. Автомобиль попался настолько разбитый, что Сергей не был уверен, что они доберутся до места. Храм во тьме выглядел как-то особенно зловеще. Зато звездное небо было прекрасно. Наконец публику впустили в храм. В глубине кое-где зажглись фонари, переговаривались все почему-то шепотом. Служители с маленькими фонариками ходили в толпе, выстраивая публику в каре перед входом. И вдруг ночное небо расколол грозный голос, вспыхнул ослепительный свет, озарив вход в храм, голос обладал магической, иррациональной силой, способной преобразить все вокруг. Метнулись, затрепетали тени, а голос уже звучал в глубине храма, все удаляясь и удаляясь. Послышалось бряцанье металла, потрескивание смоляных факелов, стены Карнакского храма ожили, развалины исчезли, строения и статуи обрели прежний вид, и Сергей отчетливо увидел, как по проходу между колонами движется колесница с юным фараоном, окруженным свитой. А к звездному небу вознесся торжественный голос главного жреца. И хотя Сергей знал, что это не более чем игра света, созданная с помощью лазерной техники, ощущение реальности, эффект присутствия были полными.

Они медленно двигались по храму, и каждая колонна отзывалась своим голосом, озвучивая начертанные на ней письмена. А потом были каменные скамьи, как в Колизее, озеро, в котором отражались звезды, они падали и гасли в черной воде. И в перекрестных лучах света рождались и исчезали картины из жизни древней цивилизации — так, по крайней мере, Сергею казалось, — и он вдруг понял, внутренне ощутил, точнее, осознал удивительную красоту, созданную руками гениальных мастеров тысячелетия назад. А музыка все нарастала и нарастала, и в ней слышались рокот барабанов, тяжелая поступь воинов, лязг оружия

и хриплые крики раненых. Отсеченные веками события не исчезли, не канули в Лету, а материализовались, и Сергей на мгновение ощутил себя египтянином, с восторгом и страхом, взрывающимся на светящийся во тьме храм...

Все это в Москве легло на холст и очень понравилось заказчикам.

Они прожили счастливую жизнь, Ольга всегда соглашалась с Сергеем, но выходило так, как хотела она, он не замечал этого, Ольга легко гасила взрывы его настроения, она обнимала его, гладила по седеющей голове и шептала: «Успокойся, все будет хорошо», и он гас. Как-то незаметно отвалила его от пристрастия к алкоголю, и Сергей теперь пил только по праздникам и на поминках — друзья уходили. Ольга успевала все: готовить еду, убираться в квартире, править рукописи, была отменным секретарем, редактором, искусствоведем и критиком. Они поздно поженились, у них не было детей, но это особенно не омрачало жизнь.

За деньги, полученные за продажу картин, Сергей купил большой внедорожник, они изъездили все Подмосковье, иногда ночевали в лесу, а время было тревожное, Сергей не расставался с гладкоствольным карабином «сайгак».

После пятидесяти Ольга стала прибаливать, осунулась, плохо спала, быстро уставала, всячески скрывая от мужа недомогание. Друзья отца помогли устроить ее в клинический госпиталь имени Вишневского. Сергей ежедневно мотался в Красногорск, где размещался госпиталь. Через две недели Ольга, твердо глядя ему в глаза, сказала:

— Сережа, у меня нашли аневризму аорты, предложили операцию, я отказалась. С аневризмой можно какое-то время жить, а умереть я хочу дома.

Сергей не посмел ей возразить.

5

Сергей Иванович по дороге в Москву хмуро размышлял: обиделся, дурак, что на крыльцо вышла не молодница-поморочка? А поморочка года

на три старше его. Разве было бы легче, если на крыльцо вышла старушка. О чем говорить? И вдруг его словно обожгло, он понял, почему поехал в Козельск. «Я схожу с ума, — с горечью решил он, — я ждал чуда, что все начнется сначала: Алевтина, дом, озеро, вечер, когда он провожал Ольгу домой с новоселья, сказочный день в Серебряном бору и завершение его в Парке культуры, а потом вся его жизнь с Ольгой, каждый день, дарящий ему радость. Разве это можно вернуть?» И сразу заняло сердце. Он остановил внедорожник у обочины и полез в бардачок за пилюлями.

В Москву приехал в сумерках. Шел мелкий дождь. Лето было дождливое. Поставил машину на свое место во дворе на стоянке, вещи разбирать не стал, поднялся на лифте на четвертый этаж, открыл ключом дверь — в лицо пахло затхлостью, — не раздеваясь, прошел к бару, достал бутылку коньяка, налил половину стакана, с жадностью выпил. Боль в сердце ушла, ее сменило отвращение к запущенности квартиры, уборка не проводилась с сороковин после смерти Ольги. На кухне стояли ряды пустых бутылок, хорошо хоть мусор выбросил. Прошел в кабинет, распахнул окно, сел в кожаное кресло. На стене, в промежутке между книжными стеллажами, висел портрет Константина Георгиевича, написанный Сергеем Ивановичем с фотографии, на которой тестю было лет пятьдесят пять. Работал над портретом почти год, прописывая каждую деталь. С портрета и началось возвращение Сергея Ивановича к живописи, принесшее ему немалую известность, но случилось это много позже.

Сергей Иванович вспомнил смотрины, разговор с Константином Георгиевичем, вспомнил живо, с подробностями. Это был первый визит в дом на набережной. Сергей ожидал увидеть старика, траченного болезнью, лысенького, худого, да еще после лечения в госпитале. Перед ним в инвалидной коляске сидел пожилой человек в шлафроке, тщательно выбритый, седая шевелюра зачесана на пробор, глаза внимательные, зоркие,

а ведь генералу за восемьдесят. Константин Георгиевич попытался встать, но Ольга тихо сказала:

— Папа, сиди.

— Да, пожалуй...

Потом они переместились в кабинет, каких Сергей сроду не видел: кожаные кресла, старинный письменный стол, по всем стенам стеллажи с книгами, на столе фотография женщины, по-видимому, матери Ольги.

— Итак, вы художник? — спросил Константин Георгиевич.

— Вроде того.

— Профессионал? Член Союза художников?

— Со студенческой поры.

— Разве так бывает?

— Со мной случилось. Я начинал, как акварелист. Яркие акварели, особенно мне удавались рисунки на мокрой бумаге. Мною заинтересовались. Две выставки.

— Вы заканчивали?..

— Строгановку. Попробовал писать маслом — неудача. Не ложился свет. Творческий кризис. Перешел на оформление книг. Я, собственно, хотел о другом с вами поговорить, Константин Георгиевич, я пришел просить руку вашей дочери.

Напряжение на лице генерала опало, он улыбнулся.

— Простите, я со своими вопросами... Оленька иди сюда!

— Что?

— Как ты относишься к Сергею Ивановичу?

— Я люблю его, — просто сказала Ольга.

— Ну что же. Я хоть и член партии, но не чужд русским традициям, — с поразительной легкостью развернул коляску, поехал в кабинет, вернулся с небольшой иконой старого письма, — с этой иконой моя мать провожала моего отца, штабс-капитана, на русско-японскую войну, и он вернулся живой. Я юнкером вступил в Красную гвардию, в гражданскую воевал под руководством Фрунзе, да и потом немало повоевал, а икону сохранил. А время было суровое. Ну что же, дети, — он дал по-

целовать икону, вздохнул и, помолчав, добавил: — Жаль Катя не дожидается этих светлых минут. Благословляю вас. У меня только одна просьба: не оставляйте старика. Четыре комнаты на троих достаточно. А я тихий, докучать не буду.

Вскоре Константин Георгиевич умер. Незадолго до смерти он все же сделал поистине генеральский жест.

В связи с болезнью отца Ольга отказалась от пышной свадьбы. Скромно расписались в загсе, никаких лимузинов, поехали домой на такси. Из гостей только два свидетеля: капитан первого ранга Платонов и подполковник Лисин. Дома планировали выпить шампанского, закусить на легкую руку: икра, фрукты, французский сыр. Но вышло совсем иначе. В гостиной официант и средних лет мужчина заканчивали накрывать на стол, чего там только не было, в углу гостиной стояла корзина алых роз. Генерал сидел в коляске, в парадной форме, несколько портили вид домашние шлепанцы, но все равно Константин Георгиевич выглядел молодцом.

Пожилой мужчина сделал широкий жест и сказал:

— Прошу к столу, поздравляем и уходим. Счастья молодым, любви.

— Гоги, посуду Оля вымоет и с мужем доставит в ресторан.

— Не то говоришь, Константин Георгиевич. Посуда — свадебный подарок, дома не пригодится, на даче будет в самый раз. Прощайте, друзья!

Официант и пожилой человек поклонились и вышли.

— Кто это? — удивленно спросила Ольга.

— Мой старый друг, директор ресторана «Крым». Что вы стоите? Капитана первого ранга я назначаю тамадой, открывайте шампанское, а я вручу молодым подарки. Оленька, тебе фамильная драгоценность — кольцо твоей бабушки, а тебе, Сережа, ключи от двадцать четвертой «Волги». Ребята свяжутся с тобой, дарственная оформлена. А теперь давайте пировать.

Константина Георгиевича похоронили на Ново-Кунцевском кладбище, в ту пору — филиале Новодевичьего. Похоронили рядом с супругой.

6

Сергей Иванович принял душ, лег в кабинете на диване, двуспальная кровать в спальне пугала своей пустотой, незримым присутствием Ольги, уснул сразу — подействовал коньяк, приснился ему сон. Он стоит у окна, перед ним озеро, подернутое густым туманом. Ветер закручивает клоки тумана, обнажая чернь воды, и вдруг в туманной круговерти возникает женщина, она взмахивает руками, пытаясь разорвать белую кисею, он узнает женщину — это Ольга. Она улыбается ему, она молода, такая же, какой он видел ее в Серебряном бору, в белом сарафане, соломенной шляпке, кругом зелень, он даже услышал, как квакают лягушки.

Проснулся рано, выглянул в окно кабинета, долго смотрел на Москва-реку, по ней полз буксир-толкач, ведущий баржу с песком, вспомнил сон и торопливо прошел в мастерскую. На мольберте был закреплен загрунтованный холст на подрамнике. И стал размашисто писать «Женщину в белом». Он писал Ольгу, как бы возникшую из тумана, с поразительной точностью ложились на холст родные черты, особенно удалась улыбка. Чувствуя, как повлажнели глаза, захотелось выпить, но он подавил желание. Он понял, что эта его лучшая работа, но боялся в это поверить.

Под вечер стану у окошка,
Стою, слежу, как тает день,
У ног моих мурлычет кошка,
Прогнать её мне просто лень.

Навряд ли в этом толка мною —
Смотреть, ведя секундам счёт,
Как мимо заповедей Бога
Куда-то жизнь моя течёт?..

ПОЭЗИЯ





СЕРГЕЙ ЗУБАРЕВ

Родился 28 августа 1954 года
в городе Челябинске.

Публиковался в центральных
и краевых газетах, журналах
и интернет-изданиях.

Автор сборника стихов
«Грешное с праведным».
Живёт в Анапе.

ОН ДАВНО ИДЁТ ПО КРАЮ

* * *

*Как я плакал сегодня во сне.
Как от радости светлой я плакал!..
Сын из странствий вернулся ко мне,
В дом войдя, сумку бросил он на пол,*

*Обнялись у порога мы с ним,
Были долги и крепки объятья.
Сын из дома ушёл молодым,
А вернулся, не сразу узнать я*

*Смог его...
– Где ты был столько лет?
Мать от горя давно поседела...
– Где я был, там, отец, меня нет,
Но я был за далёким пределом...*

*Я прошёл много разных дорог
И таких... мне дышать было нечем...
– Напиши ты об этом, сынок,
Напиши и тебе станет легче.*

*Боль утихнет... Ты – главное! – жив...
Поскорей давай маму разбудим...
– Погоди-ка, отец, не спеши, –
Сын вздохнул в наступившей остуде.*

*Не пытаюсь сдержать горький всхлип,
Не желая, чтоб сон дальше длился:
– Я тринадцатый год, как погиб,
А сегодня всего лишь приснился...*

* * *

*На закат шафранно-алый
Загляжусь порою я
И увижу в нём немало,
И услышу звон ручья...*

*И вольётся в этот вечер,
Пахнувшая смесью трав,
Золотого детства речка,
Грусть и радость расплескав.*

*Это что там за мальчишка
По тропинке к ней спешит? –
С “Томом Сойером” под мышкой, –
Где у речки ни души.*

*Только пение лягушек,
Только шёпот камышей
Да кузнечики... Послушай,
Ты послушай, книгочей!..*

*Где-то утки прокричали,
Чувство радости в груди...
Ты ещё там беспечален,
Боль и горе впереди...*

* * *

*Лишь польётся музыка из окон,
Только пианино заиграет,
Думаю в тот миг я о высоком,
Яблони ли, вишни обрезаю.*

И душа моя парит над садом
И в мечтах взлетает в поднебесье...
Мне другой не надобно награды,
Музыка, лишь лейся, лейся, лейся...

Стоит же мелодии прерваться, –
Пианистка юная устала! –
Слышится в саду мне гул оаций,
И пчела вон что-то прожужжала...

ВЛЮБЛЁННЫМ

Что есть любовь? – нечерствеющий хлеб
для души
Или для плоти хмельное вино золотое?..
Или огонь? Ты попробуй его потуши,
Если он в сердце. Ведь это чего-нибудь
стоит.

Этот огонь разгоняет пожар по крови,
Алые зори для вас полыхают вполнеба...
Если готов кто сгореть от горячей любви,
То для влюблённых другого не надобно
хлеба.

Дай же, Господь, видеть радость в любимых очах, –
Вместе по жизни идти, вот же счастье
простое! –
И чтоб огонь в очаге никогда не зачах,
Хлеб на столе был, и было вино золотое...

* * *

Ты приснилась мне в лунном свете,

Обнял я тебя... Плачьте, звёзды!
Только ты превратилась в ветер, –
И в руках моих горький воздух...

На ветру я простыл тобою
И теперь безнадежно болен.
Ты цветущее, голубое
Постелила льняное поле.

Вновь обнять тебя захотел я,
Ты же, став дождевой водою,
Утекла меж пальцев, и тело
Светит мне из ручья звездою.

Зачерпнул из ручья тебя я,
Обожгла ты пламенем жарким
И кометой ушла, сгорая,
Ослепив, как электросварка.

И добавила мне горчинки,
Рассмеявшись в лицо при этом...
Я проснулся, и две слезинки
На подушке иль две дождевинки –
Мне на память! – со звёздным светом...

* * *

“Закат горит... Я жду,
А вас всё нет и нет...”
Вечернюю звезду
Ночь превратит в рассвет.

И день сгорит дотла,
И новый день придёт...
И слышит: “Не пришла,
А он, дурак, всё ждёт...”

Цветёт полынь. Горька.
И пьёт он тот настой...

Не дрогнула рука,
Что сердце льнёт не к той...

Вон музы на лугу
Заводят хоровод.
А он же ни гугу,
А он её лишь ждёт...

МОЛЧАНИЕ ФИАЛОК

Ночь от фиалок пьяна,
В озере звёзды полощет.
Встретились два молчуна...
Кажется, что может проще:

Грусть свою в лунной ночи
Красным вином разбавляя,
Пей и молчи да молчи,
Глядя, как бабочек стая

Бьётся о лампы стекло,
Крылья свои обжигая...
Вот кому не повезло!..
А молчуны наливают...

Жёны за них говорят,
Тёплой беседой согреты,
А молчуны всё парят
Где-то над садом, над летом...

Каждому мнится из них,
Что ждёт строка золотая...
К ним же слетит – на двоих! –
Бабочек глупая стая...

* * *

Не звенится, не поётся днём, не плачет-
ся...

День для дела, говорят мне, для сохи.
Только ночь прощает странные чудаче-
ства
Боль и радость переплавливать в стихи.

Лишь для ночи изумительно фиалковой
Тот сюжет, почти банальнейший, не
нов,
Опьяняет ароматная, не жалко ей, –
Ну, ни капельки! – ни строф, ни строк,
ни слов...

* * *

Он давно идёт по краю
И, заглядывая в бездну,
Сам туда себя толкает,
Будто в жизни – бесполезный...

Но ожина-ежевика
Вновь цепляется за ноги –
Ты, конечно, не великий,
Но ты, брат, и не убогий;

Не спеши сорваться в бездну,
Жизнь ты допиши до точки,
Будет горько, если песня
Оборвётся на полстрочке;

И завязывай ты с пьянкой...
Ты поверь, что станет легче,
Глянь, как плачет наперстянка
По тебе который вечер...

* * *

То ли ангел в тот день отвернулся,
То ли бес был настойчив, зараза!..
Пил вино, пил и не поперхнулся
Я ни разу.

Журавли надо мной проплывали,
Цвёл закат в небе неповторимый,
Музу слышал свою я едва ли?..
Всё, всё мимо.

И казалась мне жизнь бесполезной,
И от жизни смертельно усталый,
Совершая полёт свой над бездной
Что искал я?..

А когда сон сморил меня тяжкий,
Я увидел её у калитки:
Не с косой шла... а в белой рубашке,
С маргариткой...

* * *

Жена на кухне хлеб печёт,
А я сижу, стихи кропаю.
Господь поставит ей зачёт
И неуд мне, я точно знаю.

Плывёт из кухни хлебный дух,
Весь дом собою заполняя...
А я читаю строки вслух,
Но где ж та хлебная, земная?..

Вот стол уже женой накрыт,
И скатерть белая льняная
О чём-то с хлебом говорит...
Стихи читает, точно знаю.

СОВЕТ СТАРИКА

“Любое дело начинай с молитвы, –
Он говорил, – в ней силы обретёшь,
Выходишь ли, мой сын, со злом на битву,

Иль ты с утра собрался сеять рожь,

С молитвой все преодолеешь беды,
А после них и твой настанет час:
Ты будешь с урожаем и победой,
Согреет душу свет любимых глаз...”

С той встречи пролетело лет немало,
И старика не раз я вспоминал:
Победы были в жизни и провалы, –
Всегда ли я с молитвы начинал?..

ПИСЬМО МАМЕ

Здравствуй, мама! С Новым годом!
Первым годом без тебя...
Плачет дождь. Сама природа,
Словно зиму невзлюбя,

Разрыдалась напоследок,
Провожая старый год.
Эх-х, ушли бы с ним все беды...
Что нам Новый принесёт?..

Мамочка, с твоим уходом,
Стал я полным сиротой...
Небо льёт не просто воду,
А Божественный настой, –

Дождик облегчает муку...
Я гляжу в молочный дым:
“Мама, встретилась ты с внуком? –
Сыном-первенцем моим?..”



НАТАЛЬЯ ВОЗЖАЕВА

Родилась в городе Грозном.
Окончила в 1993 году Ростов-
ский государственный универ-
ситет по специальности фило-
лог, преподаватель русского
языка и литературы.

Стихи пишет с 2018 года.

Живёт в Новороссийске.

Я ПЕРЕКЛАДИНКОЙ ЛЯГУ ПРОЧНОЙ...

ПЕРЕХОДНЫЙ

*И всё-то знает, в сто раз умнее
Занудных взрослых, философ мой.
Смеюсь сквозь слёзы, о, боги, мне ли
Её ругать – я была такой.
Сидит, поджав жеребьячи ножки,
Молчит, нахохлившись, как сова.
Такое вот «нехочунетрожьте»,
Какие тут подобрать слова?
Но я же вижу, что ветер веешний
Морищинит лужи, волнует кровь,
И пухлый мальчик крылатый в спешке,
Вспорхнув, с крыла обронил перо.
А в колчане золотые стрелы
И тетивы серебристый звон.
«Ах, пропустили, ах, не успели»,
А он, смеясь, промахнул балкон.
Шершавый ёришк, мой ёж колючий...
Ужасный возраст – хинин и мёд.
Я говорю ей: «Иди на ручки»,
И, как ни странно, она идёт.
«Скажи, взаимно – ведь это важно?
И о любви расскажи ещё...»
И мне в ключицу пристроит влажность
Своих медовых горячих щёк.
Тут не поможешь, не в этом дело –
Лекарства нет, и рецепта нет.
Вот мы с отцом твоим эти стрелы
Несём в сердцах очень много лет.
Да если б я понимала в этом,
Я подобрать бы смогла слова.
Летает мальчик вокруг планеты –
Звенит серебряно тетива.*

*Как мостик – твой переходный, доча,
Раскачист, зыбок и хлипок – жуть.
Я перекладинкой лягу прочной –
Ступай смелее, держу! Держу.*

* * *

*И не зашла, а влезла еле-еле,
Разлапилась, заполнив коридор.
И мне в густом нутре зелёной ели
Привиделся и снег, и дол, и бор,*

*Где полосы неведомых дорожек
Хранят следы невиданных зверей.
Я обметаю белое с порожка
И с тряпкой застываю у дверей.*

*Входите, царь, и вы, царевна-лебедь,
Златая цепь звенит – входите, кот.
Простите, я без соли и без хлеба,
Но пироги поднимутся вот-вот.*

*И дом не дом, и чёрт-те что творится!
На кухне сказка с чайником поёт.
Не дети – это зайцы и лисицы
Смирнёхонько сидят у ног её.*

*А я на ветки вешаю игрушки,
Не новые, а с тех ещё времён,
Где томик с вязью «Александр Пушкин»
От корки и до корки был прочтён,*

*Где распускалась марлевая пачка
И чешки затирались о паркет,*

*Где шоколад смешно и липко пачкал
И фантики копились от конфет.*

*Был добрый Дед в пушистых рукавицах
Желанный, но неуловимый гость.
Всегда проспийшь...
Ах, как давно не спится
Так безмятежно, как тогда спалось.*

БУЗИНА

*Вот станция твоя. Она – тупик.
Последний, прибывающий на первый.
Динамик с логоклонией напевной.
Ты, скинув кеды, чешишь напрямик
Через пустырь. Ожиновая плетъ
Царапнет кожу, пух чертополоха
Слетит с губы от сдавленного «оха»,
И – тишина. Оглохнуть, онеметь,
Зажать обиды прошлые в горсти,
Зажать до обескровленных костяшек
И убеждать себя, что вот нестрашно
Разжать ладонь, простить и отпустить.
Не видно, но предчувствием полна...
За пустырьём барабиковые волны
И старый дом. К нему ты, как подсолнух
На солнца свет, всегда обращена.
Погладь траву. Она тебя поймёт.
Пуškai давно отцвёл душистый донник,
Но здесь, в глубоких линиях ладони,
Останется его горячий мёд.
Боса, простоволоса и земна,
Торопишься. В твою прямую спину
Сморгнуть не в силах липкость паутины
Многочащково смотрит бузина.*

*Постучался – не впустила.
Не ждала и не звала.*

*На крылечко, обессилев,
Ночь сползала, как смола.*

*А внутри тепло и сыто.
В душной пухлости перин,
В покрывалах, красным шитых,
Сладко спится до зари.*

*Горячо уголья шепчут.
Ветер к речке гнёт розог.
Запирайтесь, двери, крепче,
Уходи, незванный гость.*

*Обещает непогоду
Неба хмарь, идёт гроза.
«Помешает, неугоден, –
Так любимый мой сказал. –*

*Ни к чему нам кто-то третий», –
Непреклонен и ревнив.
Плачут совы, словно дети,
Ветер треплет косы ив.*

*Страшно, зябко за порогом,
Ночь оскалилась, как зверь.
Кто бы ни был послан богом –
Не впущу, закрою дверь.*

*Постучался безответно,
Вместе с ливнями ушёл,
Вместе с грозами и ветром.
А внутри – нехорошо.*

*Поседали кудри, милый,
В очаге давно зола.
Ах, кому я не открыла,
Ах, кого не родила...*

ТЫ

Ты для меня что в поле дверь
В ромашковых стадах.
И нет ключей, но мне теперь
Одна судьба – туда.
Что проще – взять и обойти.
Иди, стрекоз лови.
Но разве лёгкие пути
Доводят до любви?
Представь, что сохну, как ковыль
В стрекочущей траве,
И жду гремящих кучевых,
Но веет суховей.
Ещё представь: грохочет март,
И все весной пьяны,
И только я схожу с ума
От звонкой тишины.
Пускай повсюду тают льды
И голоса ручьи.
Причина грусти только ты,
А большие нет причин.

Ты обрезаешь виноград –
Раскучерявился, паршивец.
Звезда в секстиллион карат
Венчает летнюю вершину.

Макушка лета как-никак,
Зло резонируют цикады,
А ты с секатором в руках
Ерошишь кудри винограда.

Вот порубила б к ясеням!
Ни ягод, ни вина, ни тени.
Но, солнцем летним осиян,
Подлец, прильнул к моим коленям.

Седьмая влага ест глаза,

И жалость в сердце или возле.
Потянется к тебе лоза,
Цепляясь усиком за воздух.

Стемнеет, сядешь на порог.
Остынешь от забот без края.

Тебя же вот господь сберёг,
На бесполезность невзирая.

Как над водой стеклянно воздух чист!
Рогоз, набрякший невесомым пухом,
Царапнет длинным пальцем мочку уха.
Но ты и тут мараешь чистый лист.

Представь, что вот подпрыгнул и завис.
Ни то ни сё, ни два ни полтора, ни...
Никто. Висишь, не признанный мирами,
Ни ввысь, ни вниз – смешно – ни вниз, ни
ввысь.

Земля, вода, над этим – облака.
Но ты – нигде, застывший между ними,
Такой безвесный, что и дно не примет,
И небо ухмыльнётся свысока.

Ни там, ни там не нужен. Ты иной.
Вот сом пройдёт неслышной субмариной
Там, под водой. Тут столбик комариный
Звенит, как нерв, задетый тишиной.

И жить не жил, стремительно скользя.
В недовитом мареве амброзий
Тебя ни пруд, ни чуткий глаз стрекозий,
Ни нота, ни строка не отразят.

АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах государственной безопасности. Из органов ФСБ РФ уволился в звании полковника. В.Румянцев — лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова

ВАЛЕРИЙ РУМЯНЦЕВ

(Зорькин Борис Иванович)

Родился в 1951 году в Оренбургской области. Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского государственного университета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской

ВЕЧЕР СУДНОГО ДНЯ...

Вечер судного дня.
Впереди новый путь.
Память в сердце храня,
Ничего не вернуть.

Пепел прожитых дней
Разметали ветра.
И звучит всё сильней
Гул шального костра.

Время молотом бьёт
В беззащитную грудь
И настырно зовёт
В неизвестность шагнуть.

Это нужно суметь.
Это нужно принять.
И в костре не сгореть.
И на жизнь не пенять.

Вечер судного дня.
Тихо тающий свет.
И вопрос-западня:
А придёт ли рассвет?

Как расплодились низшие чины
С холуйской тягой что-нибудь возглавить.
Хоть каплей власти да наделены
И можно на своём участке править.

Снаряды указующих статей
Летят, страну на части разрывая.
И не осталось больше областей,

Куда б не лезла управленцев стая.

Так хочется навластствовать влать,
Упрятав в суету свою никчёмность.
И хоть на миг в историю попасть,
В заслуги выдвигая неумность.

Наркотик власти – страшная напасть.
Не уберечься от её гипноза.
И стоит только раз попасть во власть
И мысли лишь – как увеличить дозу.

Несётся вал бессмысленных затей,
Ростки разумного с готовность сметая.
Резвятся бюрократы всех мастей,
Людьми как будто куклами играя.

Игра закончится, и горе игроки
Попрячутся привычно во все щели.
И станут, попивая коньяки,
Свои заслуги пред страной лелеять.

И попрекать неграмотный народ,
Не оценивший их больших деяний.
Но, будет время, истина всплывёт,
Как кит всегда всплывает в океане.

И вот тогда их снова позовут.
Мол, мы без вас совсем вползли в разруху.
Нам нужен ваш неоценимый труд,
Ваш ценный опыт, ваша твёрдость духа.

Все эти мысли будут греть сердца,
Реальность неприятную скрывая,
Что где-то у парадного крыльца
Толпится новых управленцев стая.

По зелёным глазам болот
Поволокою тянет дым.
Надрывается вертолёт,
Среди дыма ищя Надым.

То мелькнёт вдруг внизу река,
То затянется пеленой.
Как увёртливая строка
Она прыгает предо мной.

Но вот что-то кричит пилот,
Облегчённо взмахнув рукой,
И снижается вертолёт
Над пенящеюся рекой.
Рюкзаки снова плечи жмут.
Сапоги на камнях скользят.
Позади – городской уют.
Впереди – рукотворный ад.

Запах дыма как окрик: «Стой!
И куда же тебя несёт?»
Ещё можно сказать: «Отбой»,
Повернуть назад вертолёт...

Эти мысли кружат как гнус.
Можно гнать их, но не прогнать.
Даже тот, кто совсем не трус,
Не способен их избежать.

Горький дым цепко горло сжал
Словно дым плохих сигарет.
Значит, близок уже пожар.
Значит, времени больше нет.

И под гневный рёв бензопил,
Пуд сухую дробь топоров
Мы лопатим лесной настил,

Убирая земной покров.

Пот мешается с солью слёз.
Сердце бьёт как копытом конь,
Чтоб за шкурами минполос
Сам себя пожирал огонь.

Зубы сжав, мы идём вперёд,
Пока есть ещё сил запас.
И всё то же который год...
Ну а кто ещё кроме нас...

.....

А где-то там в просторных кабинетах
Вальяжно продолжая болтовню,
Уже вовсю планируют банкеты
Скупившие горельник на корню.

Воробьи купаются в пыли –
Значит, душ небесный будет вскоре.
Мягкий запах высохшей земли
Сменится на чистый запах моря.

С юга наползают облака.
В тополях порой вздыхает ветер.
Пёс игривый рвётся с поводка
У девчонки в розовом берете.

Тени уползают на восток.
Вечер тихо заполняет город.
И пора дневных забот итог
Подводить в неспешных разговорах.

Клочья туч создали коридор,
И в него, протискиваясь боком,
Исчезает солнца помидор,
Край небес своим забрызгав соком.

Порвалась связь времён.
Кружат осколки лет.
Какой аттракцион!
Жаль, зрителей здесь нет.

Весёлой чехардой
Прносятся века.
Кипящею водой
Сочатся облака.

Играют миражи
Утраченных побед.
Сверкают, как ножи,
Года, которых нет.

Потерянные дни
Как снежная картечь.
Горячих чувств родник
Надолго не сберечь.

Из крошек бытия
Рождается сюжет.
Его узнал бы я –
Но связи больше нет.

Жизнь кавалькадой пронеслась,
Швырнув в реальность дней пылинки.
Их рой стирается кружась
В последней яростной лезгинке.

Надежда, чувства подчинив,
Твердит, что всё идёт по плану,
Что дни сыграли свой мотив
И не напрасно в Лету канут.

Хоть в памяти ещё звучат
Фрагменты прожитых сюжетов,

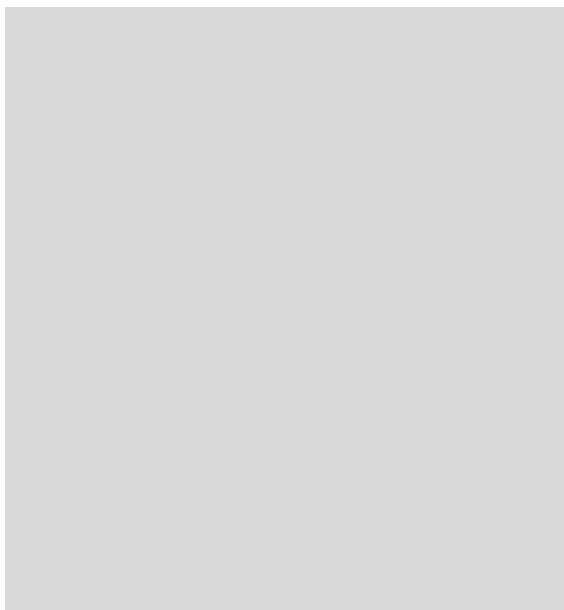
Но гаснет разума свеча
В знак окончания банкета.

И опускается туман
Неспешно и неудержимо.
И как всё это входит в план,
Для нас уже непостижимо.

[illegible][illegible]

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ





ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ

Родился в 1960 году в Кирове. Публиковался в журналах «День и ночь», «Гостиный Двор», «Литературная учеба», «Наш современник», «Новый мир», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Подъём», «Юность», в газете «Литературная Россия» и других изданиях. Лауреат Всероссийских литературных премий. Живет в городе Электросталь Московской области.

ЭКЗИСТЕНЦИЯ

(журнальный вариант, полностью читайте на сайте rkuban.ru)

МЕТРО

С Комсомольской на Кольцевую по эскалатору, глубоко, как в пропасть. И вот все движется этот нескончаемый поток людей вверх, навстречу мне, и вниз, параллельно.

Привычно выстаивая свое время спуска на «чудо лестнице», вдруг изумился, ужаснулся от этого множества людей, от внезапной догадки, на которую не обращал внимания, что каждый в этой толпе считает главным себя, и только себя. Главным, единственным и неповторимым. Его проблемы самые важные, вокруг которых вертится мир. Его мысли самые значительные. В эту минуту существует только он. И так — каждый, и каждая из этой толпы, и я в том числе.

Все религии всех миров и народов говорят о том, что самое, может быть, важное, преодолеть этот порог отчуждения от всех, этот порог «самости». И совершенно ясно стало, что это-то главное условие движения вперед для души человеческой, скорее всего, недостижимо...

Сатанизм центричен, и центр его — в сердцах городов, в самом скоплении людей. Сатана любит людей, любит их общества, любит города, афиши, футбол с сотнями фанатов футбола, и т. д. Сатана полюбил общества людей еще со времен Адама и Евы — ведь и это было «общество», с ним, с сатаной согласившееся. Были втроем, когда Бог уже искал их, потеряв свои создания из виду — во грехе их, вынужден был наказать всех соучастников греха (если только можно соотнести глагол «вынужден» с великим: «Господь наш и Бог наш»).

Именно поэтому Бог противодействует сатане, он отпускает духа святого на скопления, «где двое

или трое собраны во имя Мое». Единственно: (и это по необходимости, в противовес сатане), — Бог сам более всего силен именно в одиночестве (хоть он и троичен). Как это хорошо сказано: «Внутри вас есть». Оттого и монах в келье один. И анахорет Иоанн Мосх, и Мария Египетская, и Авва Дорофей...

В одиночестве создается душа, разворачивается — в толпе.

Москва, городские центры, областные города, как видится — во множестве неисчислимом людей — ушла от Бога. В церквях, я заметил, поют «Символ Веры» — не слушая ближнего своего, поют для себя.

И в то же время — нигде так не одинок человек, как в крупных городах, в Москве, Питере, Екатеринбурге протестующем против постройки храма (негде будет с собачками гулять!). Одиночество в толпе — это не когда ты один. Это — когда хочешь, чтобы услышали — и не слышат. И собачка не собеседник сердцу. Почему же не слышат? Сатана не дает. Вмешивается. Противоречит. Отталкивает. Ссорит, сталкивает, сравнивает, взрывает междоусобную брань и зависть. Разделяет и властвует. Спешит и кривляется. Показывает противоречивые фильмы, сталкивает фанатов. Тех, кто за «Навала» ветхозаветного и тех, кто против. И наших дней Навала... Сталкивает молодёжь и опытных...

Одиночество, аскетизм, паче — исихасты-молитвенники — они в себе, в своём мире. Истинном. Божиим.

Вот почему и сам Христос так часто спешил в уединение. Даже от Апостолов.

«Не журись, дядя!»

Про мат и бранные слова много сказано. И гневного, и оправдательного, компромиссного. Бесцветного много. Либерально-эпатажного: «быковского», быковатого. На толпу рассчитанного, на шумный дешёвый успех. Да это и понятно. Арена

защищает и там, подмостки, где «милльён меняют по рублю». Без мата и эпатажа наш театр, как странно, стал так мелок, пошл, дурновкусие... Не поставят, не вдуют в текст классика похабное, так молодёжь и смотреть не придёт. Помню, как на «Отелло» Дездемону в мужском облике схватил в последнем акте «Отелло». А за спиной моей шопот молодой пары:

-Это кто?

-Дездемона? А почему она — мужчина?

-Это инверсия автора, дорогая. Это его право...

-А этот, толстый большой — Отелло?

-Да, конечно. Ну, ну, поняла теперь, А?

-Так тот мавр, негр. А этот белый....

В ответ огорчённый вздох:

-Значит ты так ничего не поняла? Эх, ты...

Не понять такую мысль.... Странно. Это даже странно, честное слово.

И вдруг со сцены матерная брань. Сказать правду — это не просто шокировало, это взбесило. Рассверипев, какой-то работяга, слесарь, что ли вдруг поднялся с кресла и дал такую «ответочку» сцене, что все замерли. Повисло молчание, потом неудержимый, истерический смех повис в этом горе-театре. «Вот куда надо чаще ходить, - подумалось тогда, - в слесарки. Там больше узнаешь и подчерпнёшь. А то какие-то студии «Гоголь-центры». Выпендрёж». А ведь многим из моего поколения пели, не забыть «Колыбельную», для Алёшки. Там и такие слова были. Старший брат, пел малому, которому два (они остались сиротами, жалостливая песня), слова:

«У тебя на всё готов ответ,
Знаешь ты, Алёшка, «да» и «нет»,
Но не знаешь, Лёшка только ты, только ты,
Что бывают синие киты....
Что бывает мятая трава,
Что бывают бранные слова.
Я тебя от них уберегу, сберегу.
Спи, Алёшка, баюшки-баю...»

Старая песня. Послевоенная, наверное. И здесь всё понятно. Ясно. Так воспитывают после большой всенародной беды. Войны, мора, голода. А тут — и «ковид» не берёт. Как были пошляками, так

пошляками и остались.

Давно.... Теперь кажется — бесконечно давно, в те времена, когда главный редактор «Юносси»-журнала, спешно собрался и уехал по-слем в Израиль. Издал я в журнале этом у Лаптевой Эмилии Алексеевны и Липатова Виктора исследование, которое называлось: «Душа частушка» или - «Частушка-душа народа». Эта фраза кажется затасканной, а в литературе стала штампом. Кто и как придумывал частушки, еще никто точно не исследовал. В деревне и сейчас праздники, гулянья и застолья не бывают без частушек и самородных, «своих» песен. И, если верно рассуждаю я, - частушка — зеркало, отражение времени. И вот в этом исследовании, без единого матерного слова, а там была задача нешуточная: частушками проследить и подтвердить историю нашу. Нашей страны — России, затем и — СССР. Частушки — без единого слова мата. Задорные, ёмкие. Грустные и залихватские. И Лаптева и Липатов были удивлены, обрадованы. И в то нищенское время нашли шестьсот рублей (это по покупательной способности — примерно то же что и сегодня, в 2021 году), заказали позолоченную табличку и выдали торжественно. Тогда это называлось «наградить литератора, писателя премией имени Б. Полевого».

В наше коварно-ковидное время грех и матерная брань не пугают никого. Привыкли. Девушки, молодёжь, - и мы это слышим, порой загнут такой «угол». «Слов немного, быть может пяток. Но какие из них комбинации», - сказал как-то сатирик. И вот в «центрах». Гоголя, Сахарова, Ельцина... Где только не слышал я сквернословия. Но в театрах-центрах... Это по-настоящему ранит. Впрочем, отчего, казалось бы. Ведь издревле сцену, подмостки именovali не иначе как «позорище».

Частушка-душа народа... Но вот отчего-то в наше время, такое трагическое, когда апрельский «коронавирус» заражает и убивает миллионы людей по всему «земшару», - как-то особенно скоро вошли и стали приметны, даже привычны слова, которые, на мой взгляд, хуже мата, страшнее. Это отглагольные и предметно и постоянно употребляемые формы

слова: «убью». «Убийство», «убили». «Убили врачи своим безразличием к больному коронавирусом»...

Молодая мамаша кричит малому сынишке в Москве, в центре Москвы на детской площадке. Оба в масках от вируса. Кричит невнятно, в себя, «в горло», как сказали бы в театре:

-Куда полез? Ну-ка вернись, сейчас убью!

Я не удержался, снял свою маску-намордник. Дело было в Отрадном, среди цветущего мая. Площадка — напротив противочумного центра и ресторана «Белая Скала». Я указал ей на машины, прибывающие и отбывающие с огромными сумками-холодильниками для проб на вирус. «Камазы» с прицепными баками до краёв наполненные пенистой-антиковидной смесью — то и дело выезжали, выезжали на мостовые и «пенили асфальты и зеленую траву. Я сказал:

-Малое дитя, во дворе играючи полез вверх по лестнице, молодая мамаша уже кричит: «Куда полез! Слезай сейчас же, убью».

Она посмотрела на меня с нескрываемым презрением и ответила прокуроенным глухим, шипящим не звонским, сататнинским каким-то звуком, в котором я не сразу разобрал:

-Не журись, дядя. Это у меня присловье такое. Я так с ними со всеми, не только со своим.

-С кем со всеми?

-Я заведующая вот этого детского сада, который закрыли.

Я обомлел. «Ну, эта заведующая без сомнения успела насмотреться «голубых» Дездемон и Отелло», — стало понятно мне. Или часто посещала с детьми «центры». А там хорошему не научат...

«Не убий» — первая из заповедей Книги Книг «Евангелия». Православный народ, да и вообще христиан, — было время называли иначе: «народ Книги». Верующих Книге. Понятно, какую книгу имели в виду. Библию с её первой и главой заповедью. Кто может восстать на Библию? На веру? На нерушимую тысячелетиями заповедь, за которую во времена не столь далёкие отлучали мирян от Причастия на двадцать пять лет?

Но вот, будучи даже и в деревне на свадьбе, мо-

лодая женщина, при мне, желая подчеркнуть новизну и оригинальность частушки, умело притопывая, размахивая руками, пела:

«А мне милый говорит:

Милка, я тебя убью,

Неужели ты не чувствуешь,

Как я тебя люблю!»...

И ещё:

«А мне милый говорит:

«Милка, я тебя убью!»

Поневоле отвечаешь:

«Горячо тебя люблю!»

Помню ещё, проходившая мимо нас, мимо противочумного центра старушка, по виду из тех директоров и заучей, которые воспитывали моё пионерско-октябрьское племя, услышала наш спор, остановилась и молвила:

-Убить-то легко, а душе каково?!

О Гермафродитах и Афродитах

И.А. Бунин, академик, лауреат Нобелевской премии, записал в своем дневнике 17.03.40 г.: «Перечитал «Что такое искусство?» Толстого — скучно, кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного».

А вот сборник рассказов японского классика Акутагавы Рюноске «Паутинка». (Новеллы. М. Изд-во «Правда», 1987г.) На странице 354 статья «Толстой»: «Когда прочитаешь «Биографию Толстого» Бирюкова, то ясно, что «Моя исповедь» и «В чем моя вера» — ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказывавший эту ложь. Его ложь сочтется алой кровью, больше, чем правда иных».

Такие суждения, рассуждения, мнения авторитетов обескураживают, когда изучаешь все, что

написал Л.Н. Толстой. Об «Анне Карениной» то и дело слышишь — «пошленький роман», о последних главах «Войны и Мира» Флобер отзывался неодобрительно.

Очевидно, надо полагаться на себя, доверять только своим чувствам и уму и не обращать внимания на высказывания авторитетов. Прав У.С. Моэм, заявляя: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нем активное отношение к жизни». Если так, то Дж. Лондон, загнавший себя в могилу, умерший в возрасте сорока лет — гений. Но он весь вырос из Шопенгауэра. Немец, философ Артур Шопенгауэр — тёмный, как обратная сторона Луны. Как гермафродит в нравственном отношении он рождал и рождает своими писаниями фантомы. От него и Вл. Соловьёв, и Адольф Гитлер. Многие.

Напротив же Афродита — «Венера стыдливая», вот та красота о которой Достоевский говорил как о единственно возможной «совестливой» красоте, способной остановить мир на краю пропасти. Но как перевалили, затаскали, «заслонуявили» слова этого гения!

-

Выучилась

На выпускном вечере в школе-колледже были родители, преподаватели, друзья выпускников и, разумеется, выпускники. Несмотря на трудное время, родители постарались сделать все, чтобы этот день запомнился. Пестрые одежды, майки из американских флагов и бейсболки. Модные, малиновые и зеленые, не по размеру пиджаки.

Пили шампанское, и кое-кого пришлось выпроводить вон, а одну раскрасавицу учительница литературы отчитывала:

— Как нехорошо ты одета, Наташа! Ноги голые, грудь голая. А — блузка? Это не блузка, а марля, сеточка. Помнишь, как я вам говорила? Цицерон сказал по этому поводу, помнишь? Он сказал в «Тусканских беседах»: «Обнажать тело на глазах у всех

есть начало развращения».

Наташа слушала-слушала, подняла голову и резко, с расстановкой проговорила: «А хотите, я и юбочку сниму!».

*

**

...Я стучался с девятнадцати лет во все Московские художественные журналы. Окончил Литинститут, опубликовался в Германии. По проторенной дорожке «через Запад» — едва-едва добился цели: и вот опубликовали. Во многих журналах России, в журнале Беларуси и Казахстана. Во многих, кроме духовно близкого (о ту давнюю пору), давнего, на Старом Арбате ещё, «бородинском», — журнале «Москва»... Ходили вдвоём, Олег Павлов, и я. Напечатать его, меня — нет. Но была уже, по сути, потеряна вера в то, что свои, русские, и вообще — читают рукописи «из потока». Совсем не то народ «малый», внимательный, сплочённый и дружный. И прочитают, и пообещают. Часто даже и сдержат слово. Но — на совсем ином уровне, на уровне ничтожном, ни к чему не обязывающем. если ты «не их», не принадлежишь им по крови. Вот Большое Болдино. Пушкиниана. Премия за первое место в международном конкурсе — «Живое Слово» Нины Зверевой — ажурная серебряная медаль с профилем Пушкина. «Казаковское художественное изделие». Салют и бал с переодетыми дворяночками. Потом цыганский вечер в ресторане. Да, большая, да во всю грудь, да В.В. Познер выбрал из огромного списка. Значит, читали. Честно читали и Василия Килякова. Импонирует этот «другой берег». Затягивает.

Вот он, «другой берег». И — да, там, читают и печатают, и пробуют поддержать отношения. Зачем я им, если меня «свои» не взяли. Однажды так поговорил с К. Кокшениной, что выйдя на старый Арбат, выбросил свои рукописи в урну. Или Елена Устинова. Тогда молоденькая, почти прелестная, в алых прыщиках на подбородке и щёчке что-то говорила нелецеприятное о моей рифме... И мягко, ненавязчиво начинают они мне советовать, как мне писать... Одна — прозу, другая — стихи. Пока ненавязчиво. И как это странно устроено наше об-

щество, что русскому в нем нет места. Если выплывешь на другой берег — и руку подадут, и просушат одежды. По эту, русскую сторону — никому не нужен. Сколько видел я подтверждения этому. Едва ли ни на грамм дара, а его уже привечают, и стипендию оформят, и отзвонят везде, и перезвонят, и ждут его. Почему? Он свой. По крови, и никак иначе. «Русопятого» же — никто не поддержит. Да что там! На годовщине Гоголя чествуют ... Жванецкого. И какой праздник! Сколько жара и холода, прекрасных слов и света. И ramпы, и аплодисменты... А Дина Рубина... И все пишут, вся Россия диктант под невыносимо неловкие, нагромождённые как на верблюда — сакля у стены Плача, — строки... И всё им, и покойному Мише Таничу аплодисменты — шумные, словно льющийся водопад. А Губерман? «Я делаю деньги из воздуха, чтоб тут же пустить их на ветер»... А Розенбаум? «И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин....». А Рубальская: «Напрасные слова — виньетка ложной сути...». Граждане, ну послушайте внимательно, что читает Жванецкий на юбилее Гоголя. Ведь это не эстетично. Ведь это издевательски даже цинично, так в бараке шестерка развлекает Туза или авторитета, разве нет? Мы на зоне, судари и сударыни? Честь есть? Имеем мы честь, или нет? И песни таковы же, как если бы шутил «шестерка» перед нарами пахана, тот же уровень. Или Шевчук: «Полетела... Чуть поела на столе...»

А Леонид Бородин — читал то, что обещал мне прочесть? Не уверен. А Нина Зверева и Познер — прочли.... Мы необратимо, безвозвратно проиграем, проиграли.

И вот выходит под занавес на конкурсе «Живое Слово» в Болдино (и Пушкин приватизирован?), — выходит под занавес Дима Быков. Под салют — его лицо то вспыхивает, то гаснет. У него на ладони большой бокал коньяку. Сигара во рту такая толстая...

...А вспомнить, сколько раз и когда праздновали годовщины жизни и смерти русских писателей, поэтов, даже великих (по сравнению с пришлыми народами, притащившим сюда свое «искусство»: безверие и хохму, но и вежливость, и исполнитель-

ность, и верность обещаниям...).

И вот сегодня, грустным Великим постом, в одиночестве, я думаю: а сколько же надо стучаться к Богу, чтобы апостол открыл, наконец, нам, русским, двери Благодати? «До самых до смерти, Марковна...» А ведь и вера тоже, и так бывает, что — убывает. Убывает вера и в свой народ, и в сам тайный, в сакральный смысл бытия, и в предназначение русского, как званого на пир...

Национальная премия по литературе — какой национальности? А «Букер», забытый теперь? А «Премия Солженицына»? А премия Гончарова, выданная в 20-м году той же Рубиной... Чем она похожа на Гончарова? Носом? Стилем? А пять премий Зулейхе?

«Не поеду в Россию, пока там сидит Троцкий», — сказал как-то С.А. Есенин, и был казнён.

И вот Прилепин оправдывает «самоубийство» затравленного поэта. И вот автор «Циников» и «Романа без вранья», а точнее — «Вранья без романа» снова в цене?

Нет, великой России до 17-го года нет, и не будет, никогда. «Улетели журавли, барин...», — как в рассказе Бунина. Улетели.

Все убывает и улетает с годами. Даже вера в «своих»...

Liberty

Варианты перевода: свобода, право, независимость, вольность, приволье... А так же: «...широта, обширность, широтная характеристика, терпимость, естественное высвобождение, непринужденность, необузданность, несдержанность...» Как широкий диапазон той «свободы», которую нам навязали в 90-х? И в первую очередь, конечно: свобода торговли, свобода печати, свобода пустой болтовни... О, как много свободы! Судов, полиции и прокуроров, и при этом отмечают всё чаще, что СПРАВЕДЛИВОСТИ нет! Справедливость — вот ключевое слово для русского. Ничем наши действия не связаны, никто не несет ответственности перед Богом. Свобода морали или от морали, что получили мы?

Свободу обычаем или от обычаев? То же и с законами... Много поэтов, а поэзии нет. Много блогеров, интернета, а включишь компьютер, посмотришь — только дурь и выпендрёж. Как низко мы пали при этой «свободе»! Свобода для людей слабых, без культуры, известных обязанностей перед обществом и т.п. — непереносима. Выйдите на улицу — и вы увидите мучеников свободы. Сокращенные на производстве, просто бездельники, перекупщики краденого, пенсионеры, которые не в состоянии прожить на пенсию, — все это мученики нашей свободы.

Выходит, — мало кто из честных людей хочет «свободы». Почти все недовольны свободой. Кто знает, что таится в кладовых слова «свобода»? Наши слова, поступки, действия не связаны ничем. Такая свобода непереносима для людей, привыкших к самодисциплине, порядку в обществе, ответственности. История ничему не научила. Она опять наказала, в который уже раз! Разве 90-е не отзеркалили 1917-й — 1924-й? Уже была такая свобода. Не окажемся ли мы опять под лозунгами «Грабь награбленное»?

Свободу у нас понимают, как свободу от обязанностей. Глупее и опаснее такой «свободы» и быть не может. Все «Окаянные дни», все дневники праведников и страдальцев, святых, расстрелянных и расстрелянных в Мурманске и на Соловках, на Колыме и в Бутово... Всё об этом и только об этом! Очнитесь! Перефразируя великого провидца и пророка Ф.М. Достоевского: «Уж лучше со Христом, чем со свободой».

Любовь

Старые люди благодаря большому жизненному опыту временами, а часто в гневе, говорят крылатые фразы, высыпают перлы родного языка. Может быть, кто-нибудь и знает такую поговорку: «Волчок стоит, пока крутится...» Имеется ввиду юла. Раскрутишь её, она гудит и пляшет на месте. Останови её — и вот она уже на боку, пляшет, большие круги выписывает и замирает. «Принцип велосипеда».

Я слышал вот что от одной старушки 89 лет. Ее

спросили:

— Что же, бабуля, все работаете? Отдыхали бы дома: бай-бай...

Было раннее декабрьское морозное утро, в такой мороз хороший хозяин и собаку не выгонит на улицу. Мороз дыхание перехватывал. Быть на улице в такую пору — себя не жалеть. Бабушка уже убрала в сенцах, в проходной комнате, выметала мусор. Изморозь шубой висела с единственного оконца в сенцах. Из дверей пар так и валил, лишь приоткроешь их. Холод врывается в двери. Бабуля тяжело выпрямилась, седые волосы выбились из-под пухового платка.

— А чего мне дома-то сидеть? Если б я сидела да лежала, давным-давно была бы в тихой роще... Что, замерзли? А вы побегайте. Волчок стоит, пока крутится... Так-то вот я-то и кручусь... Дело — не дело, на ногах. Кручусь, чтоб стоять. Ляжешь, да попри-выкнешь тогда всё. Конеч.

— Что же, никто не помогает? — пропустив мимо ушей главное, удивились молодые.

— Я сама детям помогаю. Им много надо всего...

— А Вам ничего не надо?

— А мне ничего не надо, всего хватает. Всё моё со мной. Оттого и крутиться мне — ловчее, чем им.

Но вот бабушка Мотя заболела, пролежала в больнице три дня и умерла. Увезли ее в «тихую рощу», а она так не хотела туда ехать, крутилась. И что же помогало ей? Забота о внуках, правнуках, детях... Всё для них Искренняя любовь...

«Малый налой»

Бабушка в избе, убирая кровать, клала две большие подушки, одну на другую, а сверху — совсем маленькую, как бы детскую. Каждое лето я проводил у нее в глухой рязанской деревне, и вот как-то она, совсем уже дряхлая, тяжело нагибаясь, убирала покрывала, подушки. Всё аккуратно, раз от разу, и покрывала сверху тюлем с каймой своего плетения. Мне смешна стала её аккуратность, раз от разу одно и то же. Щепетильность какая. Мы так в армии отбивали перевернутым табуретом и пряжкой солдатского ремня — ризку на одеяле. Кантик.

— Дай-ка я по-новому уберу, бабуля,— сказал я ей. — Что посушу на солнышке, вынесу. На частокол одеяло. Высохнут — пыль погоняю. Поколочу их.

Она как-то странно посмотрела на меня:

— Ой, нет, нет, я сама... Мужикам убирать кровать — грех...

Почему грех? Она не стала объяснять, сказала только нечто уже слышанное: «Мужики должны заниматься своими делами, а бабы - бабьими...»

— А вот маленькая подушечка, эта сверху - зачем она? — полюбопытствовал я. — Прямо как в сказке «Маша и медведи»

— Это не подушка, это думка-задумка...

— А почему ее так назвали?

— Бог знает почему... На ей неловко спать, а только думать ловко. Заснешь, а голова скатывается, сама говорит, дескать, не спи, думай, как жить дальше... Да чего это ты, соколик, все спрашиваешь про бабы-то дела? Шел бы дров наколот...

...К. Паустовский любил рязанские места, слова «родник», «окоем» он услышал на рязанской земле. Не хочу сказать, что Рязанщина только и говорит звучным, штучным, исконным языком. Тут и «ишшо», и «мяшок», «гребяшок», и «грыбы»... Но какое разнообразие слов! В одной деревне — Ванёк, в другой — Ванечка, километра за два-три — Ваньша, Ванец, Ванятка... Ленечка, Линек, Леша, Алеша, Алексей... Когда мы ходили в соседнюю деревню учиться, если кто-нибудь прижмет руку или палец, кричали: «Уяк, уяк, ты мне палец прилюшшил!»... Сколько хрустальных и золотых слов и оборотов ушло, кануло в Лету. Это и кулижка, и ялань, и презсдельник. А кто знает что такое кочедык, опояска, полость, гайтан? Но вот слово «думка» - осталось. Это и есть самая маленькая, с кулачок, подушка, та что сверху всех, под тюлем.

Слова — жемчужины образности, как бы вмещающие в себя множество понятий, и среди них такие: «провал», «думка», «окоем»... Хотя эти слова еще живут пока и в Орловской, и в Курской областях...

На кулачке, или на «думке» — молились домаш-

ние молитвенники и молитвенницы — исихасты. Зрели они в молитве так: кулачок под ушко, кулачок на думке. И держат молитву Иисову. Чуть задремешь, голова скатывается. Волей-неволей проснёшься. Или молились так. Садились на маленькую «стулку»: согбенный не заснёшь. Брели в свободную руку лжицу оловянную или железку какую. Если задремлешь, лжица падает на пол или в разлатую широкую тарелку. Сразу проснёшься. И опять продолжает движение молитва. И так всегда, всю ночь.

«Придя, найду ли веру?..» вспомнилось из Евангелия.

И тогда понял я бабушку, — подушечка эта была для неё не подушкой, и даже не «думкой-задумкой», а «малый домашний налой» для умной молитвы.

Восхождение на Синай

О себе: я самый обездоленный человек в России — у меня ничего нет, и самый богатый — мне ничего не надо.

Диоген Синопский, писатель, философ (ок. 412 — 323 гг. до н. Э.) — возможно, лишь легенда, созданная светлыми умами. Я не разделяю максимализма Диогена, но по теперешним обстоятельствам, «в условиях рынка», со звериной мордой, когда крайняя нищета одних, обворованных, страшна обогащением вне всяких пределов и границ, нарочито и цинично безнравственна, - при — и не просто обогащении даже, а грабеже наглom, напоказ... Одних приводит в ярость, других приводит в смятение, - выпады Диогена и высказывания о человеческой сущности и самом существовании человеческой природы не только веселят, но и заставляют задумываться, страдать. Людям. Сострадать и самому себе (даже)... И тут уместно передать незабвенный диалог великого философа с Александром Македонским.

Однажды Александр подошел к Диогену и сказал: «Я — великий царь Александр». «А я, - ответил Диоген, - собака Диоген». На вопрос, за что его

¹ Покребите русского, и вы увидите татарина (франц.).

зовут собакой, сказал: «... так-то, что происходит со всеми нами вот уже более двадцати пяти лет звериного капитализма: «Кто бросит кусок — тому виляю хвостом, кто не бросит — облаиваю, кто злой человек — кусаю»».

Увидев мальчика, пьющего воду из горсти, Диоген выбросил из сумы свою чашу, сказал: «Мальчик превзошел меня в простоте жизни».

Судьбе - Диоген противопоставлял мужество, закону — природу, страстям — разум. Когда он грелся на солнце, Александр, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня чего хочешь». Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнце».

А в другое время и при других обстоятельствах сам царь Александр, будто бы, говорил: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном».

...В мире все повторяется. Но Диоген — неповторимая, легендарная, личность. В конце концов «хиппи», не выдержали. Их «философия» столкнулась с миром, и не выдержала испытания.

Многие философы твердят о том, что человек несет в себе два «я», две ипостаси, два начала — животное и духовное. И вот вопрос: где, с какого времени, на каком пути нам внушили, что физическая, плотная часть — важнее, почему пантеизм стал нашей религией и подменил собою подлинное Православие... Где растерялись эти начала? С появления семьи, частной собственности? Государства? Неизвестно. Я этого не знаю. Но очевидно одно: людская природа, все человечество идет по пути животного начала. И второе «я», нравственное, совершенствуется всё меньше и меньше. Задержалось где-то на пути к истине, к Богу...

У святых: тело лишь лошак, который доставляет душу к Богу на Синай. И на этом ограничивается его задача. Перекормишь его — взбесится и скинет в пропасть. Недокормишь, сдохнет по дороге — и не видать Синая...

Похоже, что Диоген разбирался в этом, главном. Основном вопросе жизни после жизни...

ВРЕМЯ «Ч»

Свежим летним днем шел тропинкой на крутую гору кустарниками орешника и молодых берез. Из орешника-лещуги лучшее удилище: легкое, гибкое, стройное. На вершине горы чувствовался порывистый ветер, ласкающий. Трепетали листья, звенели насекомые в траве. Тихо и спокойно окрест.

Шагая тропинкой, я прицеплял леску к удилищу. На пологих куртинках блестела трава, высокая и такая густая, что хотелось лечь где-нибудь в тени и лежать, ни о чем не думать. Глядеть на небо с высокими белыми облаками. Помню по детству неповторимое впечатление: когда долго лежишь, глядя в небо, кажется, что возносишься... Закину удочку и лягу навзничь.

Клева не было. Воткнул удилище в сухую корягу ольхи, улегся в тени и задремал, несколько не жалея, что рыбалка не удалась, день потерян. Время — не убито. Оно моё. Редко бываешь счастлив не смотря ни на что. Вдруг совсем рядом мужской сердитый голос заставил вскочить. Поднявшись, привыкая глазами полными синевы и солнца к матушке-земле, стал смотреть, как маленький старичок потешно перебежал по дну овражка в сухой пойме, — то жалостливо манил к себе кого-то, то — нещадно ругал, материл.

На полянке в густой траве, разглядел за его спиной хорошую, сытую козу пестрой в желтизну масти. В нынешние тяжелые времена, когда в деревне прокормиться можно лишь от трудов праведных, а держать коров уже нет сил, — тут старики вспомнили про коз. Выпасали по два раза в день, и пасли сами.

-Римма, Римма, — звал старик, — Риммочка, милочка... Хать твою, чертовка... Ну, поди сюда, ну поди... ко мне, разумница, кормилица... Забуддыга! Зараза! Зарежу и сожру!

Коза, не спуская со старика внимательного умного взгляда, жевала, пошевеливая бородашкой, уписывала траву, но стоило двинуться старику — и в одно мгновение кинулась она на дно оврага с водой. Старик тяжело дышал, видно долго искал сорвавшуюся с веревки бестию-козу. Размахнувшись широко, дед метнул палку, как при игре в городки. Рима прыснула вдоль ручья, как очумела, кинулась в кусты и без оглядки — к реке.

Недолго думая, я выломал из кустарника длинный прут, и мы оба двинулись на козу. Дед тяжело дышал, еле-еле тащил ноги по густой траве, — Риммочка измотала его силы. Он тяжело опустился на кочку, снял картуз и вытер рукавом рубахи пот с лица.

- Сынок, на-ка палку, палкой ее, суку, падлу, коровенку ельцинскую...

Продравшись к мокрому и низкому берегу реки, «недокорова» остановилась, как бы размышляя. Увидев меня, метнулась к острову, густо поросшему осокой. Вода была не глубокая, родниковая и ледяная. И, чтобы добраться до островка, надо было снять обувь. Я снял кроссовки, и, утопая до колен в грязной жиже, немея от холода, полез за Риммой.

Подошел дед, опершись на палку и тяжело дыша, вновь начал костерить козу.

Между тем я напористо, но без злости пробирался к островку, осторожно наступая на кочки... Коза оглянулась, дерзко шарахнулась на меня и в два прыжка мигом очутилась на другой стороне речонки.

- Сразу не подходи, сынок, ты этак, сызбоку... Похитрей... Ну, сука, это демон, не коза. Это не коза, а бес. Ты со своим, она — со своим. Все жилы она с меня вытянула. Бросить бы её, да внуков каждый год возят. А коровы где? Ни одной. Который год уже вся округа без коров. У двоих на три деревни, да и то к ним записываться надо, така очередь. Мне — тьфу это молоко: детишек жалко..., — садясь там, где стоял и тоже снимая сапоги, исповедовался дед. — Курица — не птица, прапорщик — не офицер... Нет скотины — и коза не скотина... Смеёшься, ая вот те крест, иной раз думаю, хоть бы пропала или утащили её, или, прости меня господи, сдохла, мать её-суку! Какой тебе смех...

На той стороне, куда я выбрался вслед за зверюгой, стоял особняк какого-то дельца из «новых». Высокий со шпилем дом с двуглавым орлом на фасаде был огорожен непроницаемым забором высотой метров в шесть. И только ворота были сетчатые, временные. Сам делец, оплывший салом, ходил взад и вперед вдоль забора снаружи своей вотчины походкой тюленя. Время от времени он кидал

палку бультерьеру, дразня и разыгрывая его.

Бультерьер, крупный, напористый, с желтыми подпалинами на черной, мощной груди и скулах, играл без азарта словно одолжение делал. Это не нравилось хозяину, и едва появилась коза на его берегу, он кинул в неё палку: «Ату, Ричард, взять! Чужие!»

То, что случилось в следующее мгновение, не забыть до конца дней. Собака кинулась. Коза и вцепившийся в горло Ричард рухнули один на другого. Повиснув крепкими кривыми лапами и влочилась по траве, пес рычал, а коза таскала его из последних сил, упираясь тонкими копытами в сырую землю, падая на колени, и пытаясь подняться. Мы никак не могли добежать до забора по пересеченной местности. Ричард все теснее смыкал зубы на козьем горле. И когда мы с «дельцом» рискнули растащить их, было поздно.

Яркие трусы из американского флага на владельце имения стали темны козьей кровью.

-Нож неси, нож неси, Лера, кричал он кому-то, верно жене. Зубы разжимать! — кричал он молодой, в стрингах, бабёнке, но та играла воланчиком об забор, и единственно что сделала, перестала играть и подняла воланчик.

Делец дергал собаку, как тушу, за задние лапы, он весь колыхался от усилия, как грелка с водой. Наконец розняли. Я сел отдышаться, а делец поспешил укрыться с собакой за воротами. И вовремя: подошел дед с вывернутой сухой корчагой. Коза не вставала уже на колени, Ричард волок её как позорное и бессмысленное на этой земле стерво. Колени передних копыт подломились. Она выпадала, то ли сама, то ли Ричард играл ею. Дед не плакал, а побледнел, и молча шёл с сухой орясиной на американские трусы и ракетку. Делец метнулся на свой участок. И задвинул электроприводом ворота. Не успели ни дед, ни я. За воротами владелец с породистым барбосом, хрипло отдыхали. Убежав в сарай, и вернувшись с расчехленным ружьём, Лера вдруг начала истерически смеяться. Она угрожала ружьём за возможное вторжение в пределы своей вотчины и имела на то полное право. Я встал и шагнул к его воротам.

- Только сунься, - заорал владелец, меняясь в лице. Крик его сорвался на шёпот, рожа покраснела, второй подбородок трясся, - только сунься, перестреляю вас, как бешеных собак!

Дед плакал и глядел в небо, будто молился
...Вытаскивая и распутывая свою удочку, я по злобе сломал ее. Дед все еще возился на том берегу с козой:

- Римма, Риммочка... Встань, матушка... Ой, встань-поднимись, помрёт старуха от горя... Что же я старухе скажу? Не усмотрел, не уберег я тебя...

«Как по покойнику», - пришло мне в голову. — «Чего уж он так...»

... И так будет со всяким, поняли, со всяким, кто приблизится! У меня как в Америке. Я работал в Америке в полиции! Я законы знаю.

-Заткнись, сказал я ему издалека. Ни ружья, ни собаки не помогут. Не психуй.

-Мы рулим, это наше время! За грибами и к реке теперь - по нашему разрешению. Только. Застрелю, и буду прав. Застрелю, как бешеных собак...

Лера хохотала в истерике.

-Время «Ч», - сказал я.

-Что? — завопил он, ты мне угрожаешь?

Я напялил кроссовки и, сматывая леску, и побрел своей дорогой. Опасные подселяются соседи к деревне. Подселились уже...

-Время «Че-е», Делюга! Грузите апельсины бочками.

Он заметался за решёткой ворот, как в клетке, верно, искал, чем метнуть в меня... И не находил.

Дед пытался приподнять подоющую козу.

Два выстрела вверх и истошный крик: «Не подходи-и».

«Зачем этот цирк», - всё думалось мне... «Зачем, ведь всё уже ясно... В России живём, не в Америке...»

Во Спасение, в дар храму Гребневской Божьей матери, в поселке Клязьма - сегодня планировали передать икону Троицы Рублёва. Дарителю трудно

расставаться в столь тяжёлые времена с иконой. Но она нужнее храму. Что за вирус, мир в судоргах. Вишелся с дарителем накануне. Шёл и думал: Как это непонятно, страшно: бесконечна жизнь души человеческой! ...Это ощущение жизни души, тишайшей, сокровенной, таинственно и тонко передает икона «Троицы» Андрея Рублева. Она погружает душу верующего с первого же углубленного взгляда на икону — в такую тишину и покой, в такую любовь и гармонию, что забываешь о течении времени... Взгляд на нее подобен воспоминанию души о первом причастии. Не случайно именно эта икона так широко живет в православии, в храмах (да и не только в православных, а и в католических)... Казалось бы, противоречиво, странно, необоснованно. Но и здесь сбываются слова Тертуллиана, о том, что душа человеческая по природе своей — христианка. Значит, и католик не может не чувствовать «свое поле» (пусть и отдаленно). Подлинная жизнь духа — именно тишина. В храмах, особенно после литургии, когда так тихо и догорают свечи, необыкновенно остро чувствуешь: тут Бог. И уже не пугает бесконечность этой тишины. И вот пришёл к храму. Пришёл и он, даритель. Двое, больше никого, ни мирян, ни настоятеля. Возле храма доска объявлений, новый лист недавно прикреплённый. На нём крупным шрифтом набрано: «За посещение храма священнослужителем — штраф 150 тыс. руб. За посещение храма юрлицом — 70 тыс. руб. За посещение храма мирянами (физлицами) — штраф 15 тыс. руб.

Что это? Недоумение и растерянность.

Без пропусков ходить по улицам запрещено. Шёл посёлком, Вдруг увязалась за мной машина Росгвардии. Пошёл быстрее, они за мной. Побегал. Они догнали на машине и выскочили из неё: «Есть пропуск?». Запнулся, упал на газон, повредил ногу. На цветной лужайке так внезапно, при травме и боли, в несчастье вдруг открылось в одно мгновение: «так вот он каков этот цветной радостный мир!» — вдруг осенило ужасом, повеяло таким ледяным холодом, — да так и запомнился навсегда этот миг и это чувство «вот он каков, этот мир,

он черно-белый!»! И это чувство так неожиданно и трагично ударило, подобно тому удару, как редко и страшно, в трагические минуты ранений, когда ты уже вне тела, в одно мгновение, в один миг, - и ты уже не тот, что был прежде. Нечто подобное бывает и при внезапном, очень сильном впечатлении: испуге, страхе, страсти: душа как бы отлетает на миг, покидает брренное тело...

И подумалось вдруг: «...так и за всем нашим народом погнались. Знать, есть причина...»

Душа не чувствует прочность жилища в теле, легко и скоро может оставить его... Каждый знает это, испытывал не единожды. Впервые я испытал это чувство, нечто подобное ему, в детстве, лет в семь-восемь, прыгнув с огромной высоты в песок глубокой траншеи. Я хотел оказаться героем перед девочками. Но когда прыгнул, уже на лету так испугался глубины траншеи и высоты и долготы полета, что обмер и как бы увидел себя со стороны. Впоследствии я не раз вспоминал это, когда случалось нечто подобное. «Ушла душа в пятки», - говорит пословица. На деле же и того круче: даже и в пятках не остается души. И я летел, ужасаясь высоте и неотвратимости, невозвратности совершенного мною поступка. Сердце билось, как первомайский флажок в детстве на параде, трепетало. И душа, как будто покинула вдруг меня, словно другая субстанция, вечная, вышла вмиг из брренного моего физического тела. От страха. Это иная, не телесная субстанция, и ее невозможно погубить механической элементарной болью, ужасом, сразить смертью, она, душа, уходит из брренного тела, как вода сквозь пальцы...

...И тогда жизнь человеческая тотчас обретает совсем иной, не элементарный оттенок. И ужасается, обрадованная обетованным бессмертием. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца брренного таит неизъяснимы наслажденья... Бессмертья, может быть, залог. И счастлив тот, кто средь волненья их обретать и видеть мог...». Поэт, не единожды стоявший под дулом мощного «дуэльного» пистолета, пробивающего навывлет грудь дуэлянтов, - только

он, Пушкин, мог так точно и верно сказать. 1830 год, «Пир во время чумы». Таковы они, кульбиты времени и обстоятельств. Но счастливы ли мы сегодня «средь волненья»? Нечто подобное гибельному восторгу пронзило сегодня сердце едва ли не каждого. Заразили не вирусом, заразили ужасом гибельным. Зачем? Или не запуганный народ не закуёшь в кандалы и не прикуёшь каждого к своему лемеху, не вручишь, безотказному от ужаса, своё орало?

«Согните выи под железное ярмо закона!»

КОРОНА ВИРУСА

Прямое соприкосновение с кровью - вот способ и сущность питания души. Дух человека бодр, «плоть же немощна».

Мысль, если она корява, похотлива, завистлива - пища с алкоголем, табаком, с руганью, страстями (не случайно в монастырях во время приема пищи в трапезных назначают чтеца житий святых, читают по очереди, хлеб пекут, пищу варят - с молитвой). Всё, что попадает в кровь, - всё приводит в движение душу, всё мало-помалу изменяет человека. В ту или иную сторону. А от мира, который как раз и состоит в этих соприкосновениях, «борениях» этих, от этого мира куда убежишь, если ты не монах? Никак. Так что же? Отчаиваться? «Нимало», - как сказали бы старцы.

Деньги же, если они попали не в те руки, - напротив, еще яростней усиливают яд этого соприкосновения с миром «через кровь». Большие деньги - учащают соблазны, «замутняют» кровь настолько, что человек иногда перестает даже и понимать, где добро. Где - зло, где добро. Где земля, а где - небо. Богатый и самонадеянный - словно плывёт на своей яхте, собранной по последнему слову техники. Всех презирает. Презирали и те, как мы знаем, миллиардеры, что отправились в круиз на «Титанике». Презирал всех и «Господин из Сан-Франциско», вознаградивший себя и семью мировым турне по Атлантическому океану на «Атлантиде» от США к Италии, планировавший и обратно - не менее «вкусное» путешествие, которое он заслужил. И корабль не подвёл. И кочегары работали исправно, как

черти в аду. А похоронили «господина» едва ли не в ящиках из-под содовой, чтобы не портить настроение таким же богатым и самоуверенным господам. И тело его лежало в гробу на дне трюма, а над ним в залах, полных света и сияния люстр, вальсировали и в разгаре был людный бал...

Но отчего же так произошло? Ведь как питались, какие отборные ликеры пили эти господа. Вставали рано, намеренно рано, чтобы на заре выпить неспешно кофе или какао, принять ванны, затем — физические упражнения для пробуждения аппетита, и — первый завтрак. Подкрепившись бутербродами, ждали второго, более обильного завтрака. Затем отдыхали в шезлонгах, глядя на океан, на волны — пёстрые «как перо павлина», и в шезлонги опять подавали чай с душистым печеньем. И при этом все внутренне ждали, готовились к главному событию дня: к обеду... Господину из Сан-Франциско не было и шестидесяти. Точнее пятьдесят восемь. А, между тем, мне известен православный монах, о котором мало кто знает, который вкушает святую воду и просфору. Молитва. И этим жив. Когда его пригласили в ресторан по случаю тезоименитства, он вылил в тарелку с ухой сладкий кисель, положил туда макароны и оладьи. Съел очень мало. И именно для того, чтобы не разжигаться, не страдать «гортанобесием»-обжорством, он, по видимому, так и сделал.

Кровь. Питание крови. Прикровенная тайна.

Помню из детства «резчика», «резуна», любившего выпить стакан тёплой ещё крови только что заколотого животного. Силы он был несокрушимой. Короткошей, плечистый... А умер не дожив и до сорока от апоплексического, как я теперь понимаю, удара. Супруга же его «Ягодка», как прозвали её по деревне (она всех так называла: «Ягодка-сыночек, иди-ка гостинец дам. Только никому не говори. Только тебе», — и совала в ладонь ребенка ириску). Она была худа, бессребреница. Просфора и водица. Дожила до 98 лет. И причастилась, успела...

Кровь. Питание крови. Литургия — величайшее достояние. Дух, оставленный нам в утешение, питает незримо.

...А детство, так нами любимое, — это, по существу, незамутненное ещё состояние нашей крови, русла его, и ничего более. Как я чувствовал Бога в детстве! И это счастье бытия! И страх темноты, и чувство присутствия кого-то великого и невидимого, неведомого — Его присутствия — было на каждом шагу.

Где все это? И как очистить кровь теперь, загрязненную грехами? Вместо этого — напротив, многообразный допуск греха через кровь, который даже и состав крови изменяет. И это чувствуешь, особенно чувствуешь, заболевая физически. И вирус, который пришёл к нам в апреле 2020 года, напомнил о многом. Он потряс весь земной шар. Не делал различия между мэром, пэром и представителем палаты лордов... И вновь предупредил. Это вирус обжорства, гортанобесия. От поджаренной мыши летучей. Вирус этот — «посещение Божье». Несомненно. Вирус этот — напоминание всем, что обжорство — корень всех грехов. Напоминание всем нам, что именно обжорство и пьянство более всего из всех смертных грехов несовместимо с величием духа.

И сколько надо сорокадневных постов, чтобы все изменить, измениться, чтобы взалкать по-настоящему, да и не греха взалкать, а — неба!

Помилует ли Бог нас и на этот раз, ради семи праведников, анахоретов, аскетиков, смешивающих в одну тарелку первое, второе и третье, и непрестанно при этом творящих молитву Иисусову, вот вопрос.

Вирус прожигает легкие через кровь, встряхивает наши души, как встряхивает мукомол пыльные пустые мешки. Перед тем, как развесить их на веревках на ветру. Испытывает душу. Пробуждает дух.

Не об этом ли времени сказано: «Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется».

Свт. Иларий Пиктавийский: «... две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется».

Не напивавшие кровь свою страстями, не возжегшие желаниями продлят жизнь, исполнят замысел Божий.

Эти темные, страшные мартовские рассветы над Москвой. Что-то в них необычайное, роковое, чужое и страшное. В этих рассветах, когда темно и глубоко синее небо там, вверху, вплоть до самого Престола, а здесь — мельтешат, шныряют огнями машины в утреннем городе, — и всё кажется милостыней, и связи судеб, и людские отношения. Всё милость Божья. И если смотреть на мир, не забывая об этом — то всё радость, всё становится мило, и любая мысль, и взгляд. Предлоги и предметики, — не по пустякам, а значительны, да и сам мир уже не кажется ни случайным, ни обманным. Нужно только помнить, помнить себя и назначение своё. Электрички приходят пустые: вирус.

В небе — всё ещё неумолимо темно. И вот все сильнее, и как-то совсем уже неуютно: жижее, строже и алей, светает... Смотришь вверх, в эту вечную стужу, в эту недостижимую высь — и замерзает душа. Кажется, будто бы вот-вот, в это уже мгновение — случится что-то трагическое, непоправимое. Наверное, именно про такие мгновения сказал Иисус ученикам: «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию» (Лука, гл. 10, ст. 18). Есть в словах Его, — какая-то неотразимая правда, правда сверх-видения, видения духов, живущих вокруг нас, невидимых нам, нашим плотским очам, а лишь святым.

И вдруг два полицейских рядом, диалог:

- Сегодня задерживаем и оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками. С каждого района приказ — не менее десяти протоколов. Если не набрали, работаем и после семнадцати = ноль-ноль.

- Это что, на пятиминутке объявили?

- Да!

Что это, неужели и впрямь чипизация?

Но даже и такое грозное присутствие великой тайны, и «молнией спавшего», — не страшит, когда вспоминаешь о вечной жизни души.

Без добровольного согласия и отречения от Христа — нет греха и чипу.

Ещё один Великий Пост дал мне Создатель пережить. Стерпевший до конца — спасётся...

Про «ща»...

Выставка картин, галерея известных старых западных голландских художников в Севастополе, в белом музее над морем. Очень старая живопись, — и вот удивительно и ясно, как заметно это: каждый персонаж обособлен. Не индивидуален, а именно — обособлен. У младенцев — лица взрослых, лица не детей, а мужиков. И от этого все, включая детей, — кажутся одинокими, как звезда среди звезд. Странно, что мистически, на перспективу написаны эти картины. Тяжелые своей массивной позолотой рамки — они уже и трескаются. Трещинами, паутиной их, сетью, покрыт и толстый масляный, грубый, словно мясной слой, — грунт под ним.

Такова же, верно, и плотная участь, даже и участь душ человеческих — покинувших юдоль после этого земного их существования. Сеть трещин на лицах — паутиной порчи, и подлинные лица действительного давнего бытия — как за решёткой. Участь даже душевного, а не телесного измененного. И оттого — как бы «зашоренного» бытия. Жив только Дух. А подлинного, иного — в духе — не видно. То — и не миновать никому забвения. Не минешь.

Лишь «там», вне этой выставки этих картин — свет и радость подлинной действительности. Не преходящей. Море и солнце. Ветер и простор... Вышел, и снова счастлив!

Мертвая телесность искусства, — «искуса». Как это очевидно...

«Ища существования смыслов,

Внутри себя Любовь ища,

Пойми, что счастье, ведь, не завтра...

А ща!»

Откуда это... Не помню.

Москва спешащая, осенняя, яркая, задыхается в пробке автомобильной. Старуха на улице в городе, нагибаясь, что-то отыскивает, поднимает в листвяной опади. Складывает и напихивает в матерчатую сумку. Присмотрелся: ягоды боярышника. Горстями сыпает в пухлую, красную, точно от крови, и тяжелую, будто картечью наполняемую, — из сумки,

порой, нет-нет, да и - двумя руками ягоды в рот отправляет. Рот узкий, старушечий, сморщенный.

Мимо едут машины, дружно и яростно гудят при малейшей попытке ее перейти дорогу. «Глупа ты, бабка! — кричит на неё краснолицый малый из “Лексуса”. — Переход во-он там, видишь? Дуй туда, совершай забег вишину. Спринторский забег, карга ты, а устремляешься как молодуха...» И задвинул стекло автоматическим невидимым-неслышимым моторчиком. Пальчиком нажал и готово.

Бабка в растерянности. До конца парка, она верно, знает это, до первого перехода — километра полтора, а здесь не пустят. «Москва бьёт с носка». А ещё она слезам не верит. Вот как. Слезам и то не верит

Старуха — в обносах, «обтерхана», в рванье. Всеми забыта. В глазах — безнадежность и покорность судьбе. А рядом, через улицу — многоэтажное здание, с типажом — «под немцев», их архитектуры. То есть — выделана под те современные новостройки Европы, которые модны. Отзеркаливает небо, любую человеческую попытку помочь, улыбнуться, руку протянуть, — отбивает железно, неумолимо. Кажется — отстреливает механически-неумолимо бронзоватым отсветом витрин и окон, как танк-«тигр» отстреливал бы, только гильзы отлетают. Так мне кажется..

- Мне досталась молодуха лет под восемьдесят пять, — кричит сзади водила, да так что старуха вздрагивает и пятится, потом он давит на гашетку и яростно подрезает кого-то, — опять попался весельчак... Со всех сторон давят на сигналы.

...С блестящим бронзой стеклом окон, с изразцовой, «под Запад» же, с отделкой толстых чугунных наличников. Москва-матушка. На запоре наличников ослепительно: «Банк Возрождение»... Ах, вы сукины дети, — радетели, «возродители», опустившие богатейшую страну: империю-СССР, вот этими «Совкомбанками», «Растерзай-кабан» и «Забодай тебя комар» — банками, фьючерсами и закладными. С брокерскими продажами и перепродажами, с ваучерными аукционами, с залоговыми аукционами-игрищами притащившие ее к «кризису»... И в который уже раз притащили. И ходят старухи и старики, роются в помойках, плющат ногой и со-

бирают пивные банки, подъедают боярышник, как птицы, остающиеся на зимовье в стране, в которой не выжить. И вдруг стало понятно, совершенно ясно, что поднимет и опять поднимет скоро неведомая рука, да и тряхнет Россию. Снова и снова, тряхнет непременно по бездушию нашему, и, быть может, — грохнет крепче семнадцатого года. Не всё русским старухам собирать боярышник вдоль ослепительных фасадов чиновничьих контор, не всё нам терпеть, глядя как унижают наших матерей, сестер. Молиться да пукать с сухомятки «макдональдсов» да «ки-эф-си» — в импортные портки-джинсы «от китайца». Не всё лежать ничком от тоски в тусклой и выматывающей безработицы да «удалёнки» самоизоляции. Все мы давно самоудалились. Именно сами, до вируса ещё китайского или американского, задолго.

Что-то случится. Бездушье отрезвляет только беда.

Москва. Все еще относительно благополучна. Относительно прошлых бед...

Переход подземный к Рижскому вокзалу. Сидит, просит подаяния стриженный наголо мальчишка лет девяти. Перевернутый картуз на ледяной плитке пуст. Он сидит, как зачарованный. Недалеко от него — безрукий старик, подняв кверху глаза, будто молится. У согнутых коленей — несколько мелких железных монет. Еще через двести метров — стоит овчарка. Прижав уши, она держит в пасти на клыке банку из-под майонеза «Провансаль». Эта баночка — пластмассовое ведро — до верха набито бумажными купюрами и монетой.

Что-то хронически не так в этом перевернутом мире. Пусто у нищего мальчишки и старика. Пса жалеют гораздо больше. Не ошибаюсь ли я? Остановился, стал наблюдать. И точно! Время от времени к барбосу подходит хозяин в кепке, лет сорока, с сигаретой в зубах, и выгребает «на корм собаке».

Выживет ли такая нация, которая предпочитает ближнему, спасению жизни ближнего — «спасение» собаки?

Собачника с завистью провожает взглядом беспризорник. Голая спина его словно вылеплена из глины. Рёбра, «флейта-позвоночник»... На выходе из метро, у забора с кустами, все усыпано одноразовыми, белое с красным, словно поплавками, — одноразовыми шприцами. Недалеко — храм Св. мученика Трифона, днем он всегда пуст.

И надпись, и дата памяти святого. Но и здесь, на площади у метро дата и надпись: «31 августа 2004 года террористка смертница... Десять убитых... Погибших... 51 раненный». И ни одной погибшей собаки. Человек, женщина, призванная самой природой, стать матерью пришла сюда с поясом смертницы в 2004 году и отняла жизни у себе подобных.

Нет, мы здорово проигрываем четвероногим. Это верно. И айфоны, компьютеры — вовсе не показатель ни ума, ни развития «Планеты людей» — как назвал её знаменитый лётчик, писатель-француз, нравственник, сбитый в тумане на войне.

Антуан де Сент-Экзюпери — и тот не удержался на крыльях в «ночном полёте этой жизни».

«И даруй нам бодренным сердцем и трезвеною мыслию всю настоящего жития ночь прейти... Одолеть ночь временного сего бытия», — сказано в пятой молитве Василия Великого. Её включили в утренние молитвы.

С этой мыслью я и покинул площадь у метро Рижская. Москва!

Сын-подросток у святого источника, бьющего из-под глубокого угора. Овраг по Ярославской дороге — станция «Клязьма» и поселок вдоль одной-меченной реки. Крутизна к реке почти отвесная.

Шел вдоль реки, по-над этой крутизной. А внизу — хрустальной свежести источник, освещенный в честь иконы матери Божьей Гребневской. У источника сидит малыш лет девяти. Я сразу узнал сына. И так задумчиво сидел он, глядя на огнистые струи светлого родника, сидел долго. Припав к струе, он наполнил пятилитровую банку из святого источника, играл со струей, рассматривал. И смотрел на него с высоты. Он наполнил банку, вторую, попил

и присел.

О чем может так напряженно думать или мечтать малыш девяти лет? И вот — так остро, до боли остро почувствовал я, что все мы на этой земле изгнанники, и я и он, и вон там вдаль — те, другие... И все мы с рождения чувствуем это так напряженно-остро, с такой тоской, что не выразить словами, и, значит, тоскуем об утерянном в прошлом ином бытии, лучше, чистом... Бытии с кем? С Богом? И вот теперь до боли мы ощущаем свое сиротство и тоску по какой-то иной, истинной родине. Которая кажется невозвратимой, кажется существующей далеко, где-то в иных мирах, тех мирах, которые так отличны от этих, — и так несравнимы и несопоставимы, что представляются эти земные места — противоположными, даже и отдаленно не напоминающими те иные пределы, коих мы были, некогда (вероятно), достойны. И с которыми ни в какое сравнение не входит эта бледная грешная, странная земля...

...Корабельные сосны косо и неприятно нависали над крутизной обрыва, канадские срезанные клены в солнечном сочном восходе, казалось, безмолвно слушали небо; иные — словно молились, стоя на коленях вокруг моего сына и источника. Иные — жалобно выставив дупла своих сучков — угрюмо показывали их мне, эти черные дыры — следы ежегодной обрезки, — как воины показывали бы свои раны. «И этим деревьям — и то не благо здесь, на земле», — так ясно легло на мою душу, словно кто-то вслух сказал мне эти слова, даже и не называя их, а так, одной мыслью...

Я окликнул сына. Он весело и легко побежал ко мне в горку, торопливо прыгая и выбирая, куда ступить... Боже мой! И эта радость встречи с сыном, не омраченная на этой неуютной, строгой и равнодушной ко всему земле, — на этой холодной и пустой планете, — эта радость встречи показалась мне так дорога, что я, пожалуй, не отдал бы ее за все богатства мира.

И всё думалось, когда мы шли вместе домой и несли воду с источника: «Господи, а где же души наши? Ведь они — с Тобой и у Тебя. И какова будет встреча наша с Тобой, ведь все мы — лишь печалинки и лишь горчинки по тебе. Хотя и сами так часто

не осознаем этого. Мы все-все дети Твои...»

Теперь это кажется невероятным, но я помню, как меня крестили. Мне было два месяца от роду. Церковь казалась безмерно высокой, белоснежной снаружи. Я глядел вверх — как в трубу, уходящую шатрами ввысь среди изгибов свода. И спланирована она была так, будто купол вверх оплетен паутиной «хоров» — хоров-выемок, с окошечками-полусферами.

Со словами священника «Дунь и плюнь», — помню, мне стало невыразимо страшно, я завозился и заплакал... Я, младенец, не увидел никого. Но липкий, холодный страх присутствия зла, и зла ставшего немощным на какое-то время, это чувство осталось со мной на всегда.

Особенно поразило меня, месячного (странно, что я все это помню), тогда, — поразило то, что едва священник понес меня куда-то (как оказалось позднее — в алтарь) — во мне тут же подало голос некое мудрое и всезнающее существо. Существо это, я знаю, есть во всяком человеке. Даже не существо, сущность, некая субстанция... Оно и сказала мне, что несут меня в алтарь, и еще сказала, что напрасно жду я чуда. Напрасно. Чуда — этого великого явления мне Бога-Света в алтаре — не будет... И я вдруг осознал всем младенческим сердцем своим, что я в мире — один. Ни папа, ни мама, никто не поможет в этом холодном и страстном мире. И вот родившись — я крещен. Как немощный цветок теперь я открыт для предстоящих ударов судьбы и надо набраться сил противостоять им. «Дунь и плюнь» — это объявление войны аду. Беспощадной войны.

Кто-то, то ли вне меня, то ли — совсем рядом, то ли — во мне самом, — морочил меня, и смеялся язвительно надо мной. И при этом казался совершенно прав: там, куда меня принесли (в алтаре). И в самом деле — не случилось никакого чуда, хоть душа ждала и замирала в ожидании этого чуда. Красивые семисвечники, а на стекле икона Христа-пастыря, со вскинутой в приветствии нашедшего стадо пастыря. Той рукой, десницей, на которую всю жизнь придется надеяться теперь, — вот и все, что способ-

но было удивить неискушенный взгляд младенца. То, чего предвкушало сердце за Царскими вратами, — не было... И от этой, внезапно открывшейся пустоты, отсутствия ожидаемого чуда, от испуга перед грядущими трудами и тяготой жизни — так занемело испуганное маленькое сердце.

До сих пор помню — и то разочарование, которое постигло тогда, при крещении. Подобного, я не испытывал впредь никогда. «Смотри, никого и ничего здесь нет, — словно шепнул мне некто слева, — алтарь пуст... Он пуст всегда...» И я обомлел от испуга. Закричал, заплакал навзрыд. Забился в пеленках в руках крестной-восприемницы.

Но — отчего и чье было это нашептывание? Не знаю до сих пор. Странно, что этот «кто-то» оказался прав: ничего того, ради чего замирала душа моя и ждала радости, — Тот, ради Которого я пришел в сей мир, — никого Этого Тайного, зримого — не встретил я и впоследствии. И до сих пор. Только тень... Величайшую тень Его всеприсутствия.

Но и тень, величие тени Его, поражает.



НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ







ИГОРЬ СИРИЦА

Родился в 1961 году в Краснода-
ре. Кандидат юридических наук.
Автор публикаций
по историко-правовым аспектам
деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб
Кубанской области.
Живёт в Краснодаре.

КРАСНОДАР В МАРТЕ 1921-ГО

(по материалам местной печати)

Спустя год после установления советской власти в Краснодаре местная газета «Красное Знамя» опубликовала 18 марта 1921 года краткое сообщение: «В ночь с 16 на 17 марта Особым отделом 9-й Кубанской Армии в Краснодаре раскрыта грандиозная белогвардейская организация, имевшая целью в ближайшие дни произвести в Краснодаре восстание. При аресте некоторые из соучастников заговора пытались бежать. Найдено оружие. Дознание производится. Уже выясняется, что заговор имел международную поддержку. Подробности будут нами получены». Впрочем, никаких подробностей впоследствии больше не сообщалось, что наводит на мысль о вбросе не соответствующей истине информации для оправдания последующих действий большевиков (по крайней мере, в открытых источниках о раскрытии упомянутой «грандиозной белогвардейской организации» в Краснодаре в указанное время нигде не упоминается). К слову, еще 15 мая 1920 года на заседании Кубано-Черноморского областного комитета РКП(б) было утверждено соглашение между РВС 9-й Кубанской Армии и Кубано-Черноморским ревкомом о слиянии Кубано-Черноморской чрезвычайной комиссии (Кубчерчека) и Особого отдела 9-й Кубанской Армии, и создании единого местного органа государственной безопасности Кубано-Черноморской области — Кубчерчека, председателем которой был утвержден являвшийся председателем военного трибунала 9-й Кубанской Армии Дмитрий Павлович Котляренко. В октябре 1922 года он был отозван с Кубани в аппарат ЦК ВКП(б). Таким образом, информация в газете от 18 марта 1921 года о раскрытии именно Особым отделом 9-й Кубанской Армии белогвардейской организации носит несколько уязвимый, с точки зрения организационно-пра-

вовой структуры местного органа государственной безопасности, характер, поскольку такового Особого отдела в тот период уже не существовало.

Тогда же, в марте 1921 года, в Краснодаре был создан «Чрезвычайный Штаб по изъятию, уплотнению и переселению буржуазии, конфискации ее имущества и размещению рабочих». Ранним утром 20 марта по городу была проведена грандиозная, доселе не виданная, операция по массовому выселению горожан из своих жилищ. В результате было изъято около 2400 квартир, громадное количество запасов белья и одежды, ценностей, продуктов питания и прочего добра. Всех бывших владельцев жилья посадили на подводы и под охраной доставили на окраины города — Дубинку и Сады, а некоторых — в тюрьму и в концентрационный лагерь. Передовица советской газеты извещала, что «энергичным нажимом была свергнута жилищная и имущественная диктатура буржуазии». Все реквизированное жилье предназначалось исключительно для рабочего класса Краснодара.

Подготовка к операции началась еще за три недели до «часа X». Под видом жилищной переписи населения города члены Чрезвычайного Штаба собрали необходимые сведения о принадлежности жилья, тщательно проанализировали 50 тысяч (!) анкет жителей города и приняли решение по каждому адресу, после чего составили реквизиционные списки. Убедившись, что все предусмотрено и подготовлено, руководство Чрезвычайного Штаба назначило днем проведения операции 20 марта. До 4 часов утра в трех районных чрезвычайных штабах проходил инструктаж коммунистов, участников операции, которых разбили на тройки, вооружили и снабдили мандатами. В 4 часа 30 минут была дана команда «о наступлении». И ре-

прессивный маховик завертелся...

Тройки заходили «в адрес», будили хозяев и членов их семей, включая детей, давали немного времени, чтобы одеться и взять необходимые документы, печатали двери квартир, после чего сажали в предусмотрительно подогнанные к дому повозки и отправляли в районные штабы. На дверях всех реквизируемых квартир оставлялись так называемые «предупреждения», носящие грозный характер: «Настоящая (комната, квартира, вещи) реквизирована для рабочих Чрезвычайным Штабом Кубано-Черноморского Облисполкома. Всякий, пытающийся сорвать, или сорвавший этот бланк, равно похитить конфискованное у буржуазии имущество, являющееся народным достоянием, карается высшей мерой наказания и тотчас подлежит аресту и выселению».

Утром в газете появилось объявление: «От Чрезвычайного Штаба. Впредь до описи и вывоза вещей, конфискованных у буржуазии, и переселения рабочих, охрана опечатанных комнат и вещей и ответственность за сохранность их и целостность печатей возлагаются на кварткомы и домкомы с обязательством назначать ночью смену дежурных жильцов как военных, так и гражданских у опечатанных комнат и вещей. За самовольное срывание печатей, пропажу вещей и покушения подвергнутся революционным репрессиям в первую очередь кварткомы, домкомы и соседи, жильцы того же дома. Начальник Чрезвычайного Штаба Гольман. Начальник гарнизона Батурина».

Чтобы понять логику и суть произошедшего, необходимо иметь в виду, что Михаил Борисович Гольман, уроженец Полтавской губернии, до октябрьского переворота являлся членом террористической партии эсеров-максималистов, а в 1918 году влился в ряды ВКП(б). До приезда в Краснодар товарищ Гольман с 1919 года руководил отделом народного образования Симбирской губернии, на родине вождя мирового пролетариата, которого боготворил и верно следовал его принципам построения социалистического общества. Впрочем, в конце 1920-х годов что-то пошло не так: его неоднократно арестовывали и отправляли в

места, куда Макар телят не гонял — сначала в Восточно-Сибирский край, потом в Архангельск. В конечном счете, 1 марта 1938 года его расстреляли в Воркуте.

Что касается Григория Николаевича Батурина, уроженца кубанской станицы Ахтанизовской, который осуществлял руководство силовой частью операции по выселению из квартир жителей города, то в молодости он тоже путался с эсерами, но в 1917 году стал пламенным большевиком и даже занимал руководящие должности в Таманской армии во время Гражданской войны на Кубани. После завершения операции по реквизиции жилья, его перевели в конце 1921 года в Ростов-на-Дону, где по неизвестной причине он спустя четыре года застрелился...

Через день после завершения вероломной операции, вышел номер «Красного Знамени» с победоносной реляцией краснодарского журналиста Н. Колбанцева под названием «Первый транспорт», пронизанной изощренной иезуитской логикой. «20 марта 1921 года в Краснодаре, — сообщал журналист, — в 6 часов вечера на Красной улице показался первый транспорт буржуазии с узелками, отправляющейся на окраины города. Советская власть, учитывая, что буржуйчикам необходимо подышать свежим воздухом, позаботилась о них. Не проспав ночь, члены партии произвели их сортировку и, разбив по категориям, усадили плотно на фаэтонах, а для того, чтобы шествию придать эффект, то есть, чтоб никто не беспокоил выселенных, по сторонам были поставлены вооруженные проводники. Советская власть учитывает, что буржуазия любит почетный караул, и сделала для нее эту привилегию. Потянулись одна за другой подводы, и 4-я годовщина Февральской революции осуществила диктатуру пролетариата не на бумаге, а на деле. Занимавшие до настоящего времени роскошные дома, за одну ночь очистили город. Стало легче дышать воздухом в центре. Пусть же поселится здесь не буржуа, а рабочий класс, который до настоящего дня жил на окраинах в тесных и темных подвалах».

Подобная рокировка была осуществлена боль-

шевиками в полном соответствии с их лозунгом: «Кто был никем, тот станет всем!» Между тем, член Реввоенсовета 9-й Кубанской Армии Моисей Соломонович Эпштейн докладывал в РВС Кавказского фронта: «Имеются сведения, что от освободившихся в центре города квартир рабочие отказываются. Неизбежные случаи вопиющих злоупотреблений еще усугубили дело». 13 апреля того же года товарищи из Президиума Кубано-Черноморского областного комитета РКП(б) покумекали, подискутировали, пораскинули мозгами и запретили впредь проводить «ущемления» квартировладельцев, ибо проходящий 8–16 марта в Москве X съезд партии принял курс на переход к НЭПу. Краснодарский опыт не был признан положительным и дальнейшего распространения по региону не получил, но жилье его владельцам, конечно же, не вернули.

...После завершения реквизиции жилья большевики не побрезговали детально ознакомиться с изъятými документальными и эпистолярными материалами личного свойства, по результатам которого один из участников операции некто Киров (то ли фамилия, то ли псевдоним) опубликовал 24 марта в «Красном Знамени» свое «исследование», испещрив его собственными ремарками, с говорящим названием «О чем говорят письма». Приведем его в полном объеме, ибо этот образчик большевистского подхода к делу свидетельствует о сложившемся менталитете местной диктатуры пролетариата.

«В числе трофеев ночи с 19 на 20 марта, — живописал товарищ Киров, — имеется пачка писем генеральши У. к своему мужу, сражавшемуся в войсках Деникина против большевиков. Все они лежат передо мною, эти письма любящей жены к своему мужу и, чем больше их читаешь, тем больше приходишь к заключению, что это ценный трофей. В них много интересного исторически и много поучительного.

Кто такая генеральша У.? Это лучше всего видно из следующего отрывка: «Здесь еще сахар не получен и мне только за любовь к тебе дали из неприкосновенного запаса. Хорошо иметь такого

мужа, о котором говорят: он исключение».

Итак, она жена известного, всеми любимого генерала. Она хорошо знакома с цветом добровольческой армии, всякого рода генералами, атаманами и даже с самим Деникиным.

Чем они занимались? «Во вторник я была с Голощаповыми в оперетке «Веселая вдова». Пикантовская была великолепна. Театр был переполнен, и масса была приставных стульев. У «Максима» танцевали Джонсон и Альперов. Что это был за танец! С ума можно было сойти!»

Недурно? Они веселились. Интересно было бы знать, сколько билетов тогда получал Совпроф для бесплатного распределения среди рабочих?

«Из театра мы с Ник. Ник. поехали к Голощаповым. Хороший ужин, вино, шампанское и приятное общество, — все это так затянуло, что мы вышли только в 2½ часа ночи».

Бедные, бедные... А еще говорят, что они не трудились. Работали, можно сказать, без ограничения времени. Одно слово — ответственные работники.

А вот что она пишет о положении города: «Рабочие бастуют, нет хлеба, огня, базара, трамвая. К лучшему и газеты закрыли».

Вот те раз: а я совсем недавно слышал от наших «друзей», меньшевиков и эсеров, что при Деникине, мол, прямо рай был: все свободы. Кому же теперь верить? Думаю, что скорее генеральше: уж больно у наших «социалистов» короткая память и длинный брехливый язык.

Театр театром, а дело — прежде всего: «Вчера Николай Иванович сослужил мне большую услугу: достал мне большой букет цветов, который я поднесла Антону Ивановичу (Деникину. — Киров). Ну и проводы вчера были! Расскажу подробно. Антон Иванович уезжал в Кисловодск, и я узнала, что ни атаман, ни город не устраивает никаких проводов. Мне так стало обидно и грустно (еще бы! — Киров), что попросила Ник. Ив. поехать со мной и достать цветы. Когда бабушка узнала о затее, то сказала: «И бабушка с вами» (как трогательно! — Киров). Приехали на вокзал — там только офицеры, дам очень мало, публику не пу-

скали. Мы встали у деникинского вагона и стали ожидать его. Мне было так обидно, что я сказала атаману: «Как скромно уезжает Деникин». — «Да, — говорит, — я даже сегодня с трудом узнал, что он уезжает». Я ему сказала: «Отъезд ведь давно был известен», намекала, что и он знал. А он мне говорит: «Нет, только сегодня». Я говорю: «Вчера даже час можно было знать их выезда», и замолчала. А он говорит: «Вот теперь выезд поможет разгрузке города». А я ему: «Нет, будут теперь беженцы из России, измученные большевиками», и отошла. Вскоре приехал Деникин. Все бросились к нему. Деникин говорил с Лукомским, Романовским, со всеми перездоровался, сказав два слова атаману, прямо направился ко мне. Я ему преподнесла цветы и пожелала, чтобы был счастлив. Он же мне сказал: «Нет, крови будет еще много и очень много». А я ему: «Но все же, чтобы не было шипов». Тут подошел так порывисто атаман, взял мою руку и поцеловал. Я отошла. Подошел Плющик, и Деникин стал со всеми здороваться, а бабушка кланялась ему низко и благодарила. Вскоре Деникин со всеми простился и вошел в вагон, и стоял на площадке, стоял молча и величественно! Тут подали шампанского (с этого и начинали бы! — Киров). Атаман подал бокал Антону Ивановичу и сказал: «За Главнокомандующего — ура!» Бабушка очень старательно кричала (какая хорошая бабушка! — Киров). Деникин пил шампанское медленно и ни слова не сказал (это очень глубокомысленно! — Киров). Второй бокал пили за поход на Москву. Деникин все до конца выпил (еще бы! — Киров) и ни слова не промолвил, и так тронулся поезд. Как тяжело было смотреть, я до сих пор не могу опомниться и всю ночь не спала (вот как близко принимается к сердцу! — Киров). Благодарный Екатеринодар преподнес только две бутылки шампанского! Позор! (конечно, нужно было прикатить бочонок для таких буйволов, какие собрались там. — Киров). Страница Екатеринодарской истории закончилась. Уехали... как тяжело...»

Я нарочно привел такую большую выдержку из письма. Уж больно она хороша. Здесь и взаимоотношение Деникина с кубанцами, и «аполи-

тичность» генеральши, преподнесшей цветы и не спящей ночь из сочувствия Деникину, и верноподданническая преданность бабушки, и великий ум Деникина, пьющего молча шампанское до дна и обещавшего реки крови, и т.д., и т.п. Что ни страничка, то перл, достойный пера наших великих писателей. И сама генеральша отдает себе должное. «Я мало сказала», пишет она, «но много показала». Верно, генеральша!

Дела на фронте генеральшу живо интересуют. «Вчера я, провожая Деникина, слышала, что ты берешь пленных и побеждаешь. Да поможет тебе Бог. Горячо тебя целую за успехи и усердие. Напиши мне, родной, как воюешь и как брали Царицын. Какая добыча? Правда ли арестовали 48 комиссаров в броневом поезде? Деникин возвращается 26-го и будет молебн о взятии Царицына. Такая большая радость и прошла как-то слабо из-за этого рябого (дама в письме написала «быка», потом зачеркнула и написала «вола». Речь идет об убийстве Рябовола агентами Деникина. Генеральша У. называет его «рябым волом». — Киров).

Несбывшиеся мечты: «Я рада, что ты ушел от Рады и будешь в добровольческой армии. Правда, разлука с тобой тяжела, но я думаю, не надолго: со взятием Москвы (держи карман шире! — Киров) будет все закончено и мы сможем соединиться».

Мечты, мечты, как вы подводите. Вместо Москвы — Екатеринодар, вместо тщательных и сногшибательных танцев — Комтруд, вместо пляды генералов — Коммунистическая партия, производящая ущемления и забирающая такие интересные письма.

Можно было бы привести еще много интересных отрывков, например, о формировании добровольческих отрядов в Грузии, об отношении англичан и русских на Кавказе, о революционном настроении немецких войск, находящихся на Украине и проч. Особенно подробно и ярко описаны взаимоотношения добровольцев с кубанцами, момент непосредственно за убийством Рябовола и т.д. Но это имеет уже исторический интерес, для нас же чрезвычайно важно лишь отметить, что нет во всей пачке ни одного письма,

в котором не затрагивались бы те или иные политические вопросы. Семейная жизнь всюду на заднем плане. Это чрезвычайно важно, и следует напомнить всем тем, кто в дни ущемлений отстаивает аполитичность (незаинтересованность в политике) всех этих жен белогвардейских деятелей, их ближайших родственников, всех «бывших людей» — баронов, дворян и биржевых королей, прихлебателей буржуазии и т.д., и т.п.

Все они интересуются политикой, каждый из них прекрасно знает свое место на фоне классовой борьбы. И, если всякий контрреволюционер

активен при устойчивом положении Советской власти, это вовсе не значит, что он не проявит этой активности в момент нашего ослабления. Отсюда вывод: поменьше беспечности и доверчивости. Этот вывод мы сделали в ночь с 19 на 20 марта.

Выше уже отмечалось, что 13 апреля 1921 года Президиум Кубано-Черноморского областного комитета РКП(б) запретил впредь проводить «ущемления» квартировладельцев в Краснодаре. Постыдное пятно, на наш взгляд, имело место в истории города. ■

См., например: Мутовин И.И., Лебедев В.П. Меч не ржавеет: Документальные повести о чекистах / Вступ. статья ген.-майора С. Смородинского. — Краснодар: Кн. изд-во, 1973. — 256 с.; Найти и обезвредить: Очерки и воспоминания о чекистах Кубани / Сост. А. И. Дергачев и др.; Вступ. ст. Г. Василенко. — Краснодар: Кн. изд-во, 1985. — 447 с.; Кубанская ЧК: Органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях / Сост. Н.Т. Панчишкин, В.В. Гусев, Н.В. Сидоренко. Под общ. ред. Е.Л. Воронцова. — Краснодар: Советская Кубань, 1997. — 672 с.; Без грифа «Секретно». Из истории органов безопасности на Кубани. Очерки, статьи, документальные повести. Кн. 2 / Бабакаев М.Э., Беляев А.М., Горожанин К.И., Зайцев А.В., Морусов А.А. — Краснодар: Диапазон-В, 2007. — 720 с. и др.

Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 54. Л. 61.

Предположительно речь может идти о Елене Георгиевне Улагай (жене генерал-майора Сергея Георгиевича Улагая) или Марии Ипполитовне Успенской (жене генерал-майора Николая Митрофановича Успенского).

Деникин Антон Иванович (1872 — 1947), генерал-лейтенант, Главнокомандующий Добровольческой армией (с 25.09.1918) и Вооруженными силами Юга России (ВСЮР, 26.12.1918 — 22.03.1920).

Голощапов Николай Иванович (1878 — 1963), генерал-майор, с апреля 1918 — глава организации «Спасения Кубани» в Майкопе. В Добровольческой армии и ВСЮР. С 1.08.1918 — в резерве чинов Кубанского казачьего войска, член Кубанской комиссии по пересмотру уставов; с 24.12.1918 — член комиссии для рассмотрения проекта устава; затем в Русской Армии до эвакуации Крыма.

Пионтковская Валентина Ивановна (1877 — после 1918), русская певица (лирическое сопрано). Выступала в театрах оперетты в Варшаве, Киеве, Москве, Одессе и др. Обладала голосом своеобразного тембра, небольшого диапазона. Оригинальность трактовки образов, непринужденность исполнения, тонкое актерское мастерство, владение искусством зазорного, жизнерадостного, типичного для оперетты танца создали ей славу одной из популярнейших артисток оперетты. В числе лучших ролей — Ганна («Веселая вдова» Легара).

Альперов Сергей Сергеевич (1859 — 1923), в возрасте десяти лет бежал из дома с бродячим цирком. Выступал сначала как эквилибрист, затем как гимнаст на трапеции. Позднее — в жанре клоунады, освоил игру на нескольких музыкальных инструментах, использовал в своих выступлениях словесные реплики, акробатику, танцы на ходулях. Выступал в лучших цирках России. С 1914 его партнером стал сын — Альперов Дмитрий Сергеевич (1895 — 1948) — артист советского цирка (возможно в рассматриваемое время выступал под псевдонимом Джонсон).

Голощапов.

Филимонов Александр Петрович (1866 — 1948), генерал-лейтенант, войсковой атаман Кубанского казачьего войска (12.10.1917 — 10.11.1919).

Лукомский Александр Сергеевич (1868 — 1939), генерал-лейтенант, начальник штаба Добровольческой армии (27.12.1917 — 09.02.1918). С 25.09.1918 — помощник Главнокомандующего и начальник Военного и Морского управления. С 27.10.1919 состоял председателем Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР; с 30.12.1919 — глава правительства при Главнокомандующем ВСЮР. 08.02.1920 приказом Деникина по Генеральному штабу был «уволнен от службы».

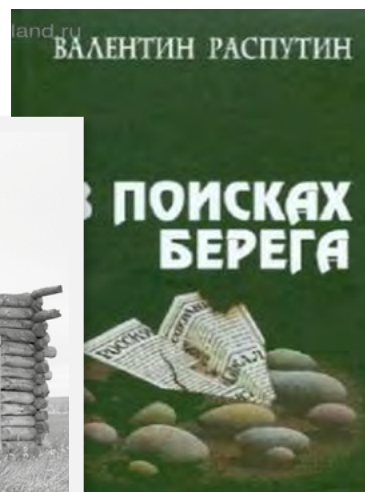
Романовский Иван Павлович (1877 — 1920), генерал-лейтенант, с 02.1918 — начальник штаба Добровольческой армии вместо Лукомского, затем начальник штаба ВСЮР по 16.03.1920. Убит в русском посольстве Константинополя.

Плющевский-Плющик Юрий Николаевич (1877 — 1926), генерал-майор, с 27.11.1918 — генерал-квартирмейстер Добровольческой армии; в январе-ноябре 1919 — генерал-квартирмейстер штаба Главнокомандующего ВСЮР. В эмиграции с 22.03.1920.

Рябовол Николай Степанович (1883 — 1919), с августа 1918 — председатель Кубанской краевой Рады. Убит 14.06.1919 в «Палас-Отеле» Ростова-на-Дону.



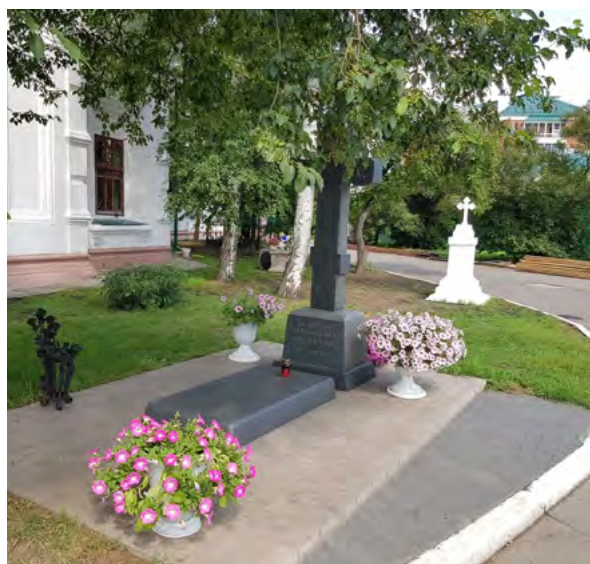
В МИРЕ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

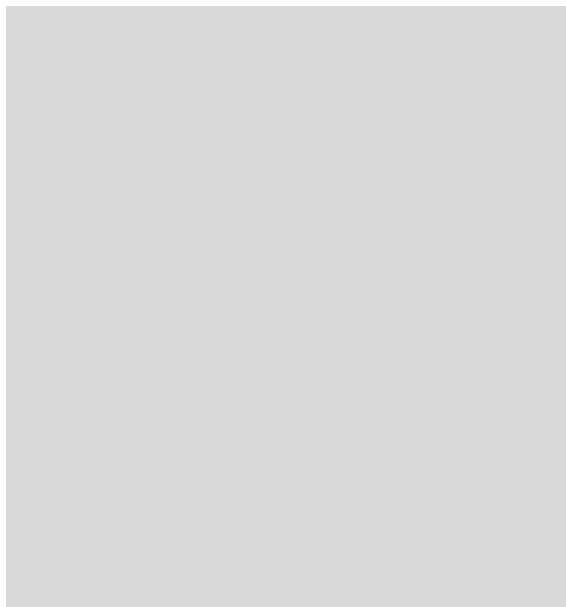












ВИКТОР ВЕРЬКИН

ского края.

Член Союза журналистов
России. Лауреат Всерос-
сийской литературной
премии «Прохоровское
поле». Живет в г. Старый
Оскол.

Родился 18 августа 1950 года в Бел-
городской области. Окончил Воро-
нежский политехнический институт
и факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова. Автор и
редактор-составитель около 20 книг,
посвященных прошлому и насто-
ящему Старого Оскола, создатель
телефильмов об экономических и
культурных достижениях Осколь-

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН НА ОСКОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Завершались мрачные 90-е. Россия лежала в руинах — экономических, социальных, культурных, духовно-нравственных... Черные дни переживали литературные периодические издания, особенно патриотической направленности. Чтобы выжить, тот же журнал «Наш современник» под руководством негигаемого Станислава Куняева прилагал неимоверные усилия сохранить тираж, читателей, своё влияние... Где-то с середины 90-х журнал стал лидером по тиражу в России. Этому помогло, как известно, и то, что редакция совершала десятки поездок по стране, налаживая с регионами, местными органами власти творчески-деловые связи, пробивая у губернаторов, мэров дополнительную подписку на журнал для местных библиотек, договариваясь о материальной помощи...

Такие полезные отношения были установлены и с Белгородской областью. Белгородчина в то время на фоне всеобщей нищенской российской жизни выделялась относительным благополучием, литераторы из столицы встречали здесь полное понимание и поддержку.

17 марта 1999 года десант «Нашего современника» высадился в Белгородской области в составе заместителя главного редактора журнала Александра Казинцева, членов редколлегии, поэта Юрия Кузнецова и писателя Валентина Распутина.

То было явной удачей — заинтересовать Валентина Григорьевича этой поездкой, поскольку к тому времени он мало куда выезжал. Но здесь писателя увлекала возможность наконец-то побывать на Прохоровском поле, где в период Великой Отечественной войны 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших за всю историю танковых сражений. В героическую историю нашей страны оно вошло как третье ратное поле России — после Куликова поля и Бородинского.

Вначале делегация журнала поездом из Москвы

заехала в Старый Оскол — промышленный центр Белгородчины, с 70-х годов известный как город трёх Всесоюзных ударных комсомольскихстроек. Здесь на базе железорудных месторождений Курской магнитной аномалии были возведены Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты, первенец отечественной бездоменной металлургии — Оскольский электрометаллургический комбинат, а также десятки предприятий других отраслей.

По пути в администрацию Старого Оскола, где их ждал официальный приём, Распутин был удивлен неожиданной чистотой, прибранностью городских улиц. Обычно в эту весеннюю пору, когда начинает сходить снег, обнажаются горы мусора, накопившиеся за зиму. И по неспешной привычке его чистят чуть ли не до следующей зимы. Здесь было видно: убирают его с мостовых быстро, нигде не оставляя даже листика перепревшего... Чувствовалась заботливая рука настоящего хозяина.

И писатель не обманулся в своих ожиданиях. Встреча с главой Старого Оскола Николаем Петровичем Шевченко произвела отрадное впечатление на Валентина Григорьевича. С первых же минут возникла объединяющая их тема — Сибирь.

Оказалось, Шевченко 15 лет отдал этому краю, соорудив в Новокузнецке гигант советской металлургии — Западно-Сибирский металлургический завод. Приехал туда в 1961 году по комсомольской путёвке из Краснодара, где жили его родители и где после армии немного поработал слесарем-монтажником на строительстве самого тогда протяжённого в Европе газопровода Ставрополь-Москва.

Тут уже земляческое родство с главой Старого Оскола отметил кубанец Юрий Кузнецов. Николай Петрович подтвердил: его родовые корни тянутся в Закубанье, там во второй половине прошлого века

осели его семь дедов, получив от правительства в аренду землю, на которой начали возделывать табак. Семейное предание гласит, что они основали хутор в долине небольшой речки Камла, получивший название по их фамилии — Шевченко.

Из Сибири Николай Петрович решением правительства страны был назначен в Белгород - управляющим трестом «Центрометаллургмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, созданным для возведения крупных промышленных объектов на базе минеральных ресурсов КМА. Потом дальше пошёл на повышение - была работа в партийных и советских органах Белгородской области, участие в сооружении зарубежных объектов. Когда вернулся из заграникомандировки, как раз в начале 1996 года объявили первые выборы органов местного самоуправления. Шевченко выставил свою кандидатуру и выиграл альтернативные выборы, стал первым всенародно избранным главой Старого Оскола и Старооскольского района.

Рассказывая гостям, как сейчас живётся-работает в Осколе, Николай Петрович прежде всего обратил внимание на то, что за годы разрушительных реформ практические все предприятия сохранили свое производство, работают устойчиво. Проинформировал о весомых результатах, достигнутых в экономике, социальной и культурной сферах, в благоустройстве вопреки всеобщему тяжёлому кризису. Не скрывал трудностей, нерешенных вопросов, которые доставляют ему головную боль...

Валентин Григорьевич с удивлением переспрашивал: неужели не закрыли клубы, Дома культуры, не сдали их торговцам или на другие коммерческие цели, как повсеместно наблюдается в России?

Даже мыслей таких не было, отвечал глава. Оказываем полную поддержку учреждениям культуры, которые работают по своим программам, выполняют своё предназначение. Более того, продолжаем строить новые социальные объекты — школы, детсады, находим для этого средства в местном бюджете. У нас нет задержек с выплатой зарплаты, прежде всего бюджетникам — учителям, медикам, работникам культуры, пенсий. Если здесь случаются сбои, то мы рассматриваем это как ЧП.

Для решения задач развития края, подчеркнул Николай Петрович, нам удалось объединить мощный директорский корпус города, сделать его своим единомышленником, и эта консолидация хозяйственных руководителей даёт положительный результат во всём.

- А какова ситуация с демографией? Наверное, у вас, как и везде, идёт вымирание, сокращение населения? — задал новый вопрос писатель, вкладывая в него мысль, которая особенно не давала покоя последние годы.

- Тоже нет, - прозвучал ответ. - Вот цифры, которые говорят, что население нашего города и района не только не уменьшается, а, наоборот, растёт. По итогам минувшего года старооскольцев уже 250 тысяч. Небольшая, но прибавка. У нас много детей, молодёжи, город по-прежнему остаётся одним из самых молодых в стране. Средний возраст — 33, 6 года, конечно, надо признать, он несколько подрос, было 29 лет.

Не всё просто в деревне, согласился глава, когда писатель поинтересовался жизнью на селе, самочувствием сельчан. Но мы деревню не бросаем на произвол судьбы, не оставляем без внимания местной власти.

Распутин в беседе высказал предположение: наверняка сибирская закалка помогла Николаю Петровичу поднять в советский период новые заводы уже тут, в центральной России, а сейчас даёт ему силы в это непростое время, когда в стране царит разруха, справляться с многочисленными проблемами в жизни города. И получил утвердительный ответ.

- Да, дорогой Валентин Григорьевич, Сибири я должен сказать спасибо за всё! - признался собеседник. - За великое дело, которое нам, молодым, дали там вершить, за верных товарищей и совместный большой труд, который каждого из нас прочно поставил на ноги. Для меня Запсиб, как и для тысяч других советских парней и девочек, действительно стал и школой мастерства, и школой жизни, уроки которой помогают и сегодня.

- Вижу, у вас здесь, на Белгородчине, в Старом Осколе, сохранился здоровый русский дух, - обобщил свои впечатления Распутин. - И это греет мою душу. У вас существует более-менее порядок. А в общем-то

Россия, как вы знаете, живёт сегодня в таком страшном беспорядке, такой страшной нужде. И у вас, конечно, есть нужда, есть проблемы, но всё-таки, мне кажется, вся Россия знает, что Белгородская область - несколько особая, которая не порушила свою экологию, своё хозяйство, как это случилось в моей родной Иркутской области.

- Давно мечтал побывать в ваших чернозёмных краях, - продолжал Валентин Григорьевич. - Старый Оскол для меня всегда стоял где-то рядом с Нижним Новгородом, откуда исходил исторический дух народного единства в защите от чужеземцев. Оскол ведь появился как крепость для защиты южных рубежей государства. И эти два имени всё-таки стоят рядом. Рядом с вами Прохоровское поле, на котором должен побывать, считаю, каждый россиянин. У меня давно существует желание написать о том, что было на Прохоровском поле.

Он искренне поблагодарил Николая Петровича за поддержку и развитие культуры и духовности, образования, молодежи. Пошутил: «Вашему городу не хватает только лауреатов Нобелевской премии».

И ещё раз неожиданно прозвучала на встрече кубанская переключка. В разговоре Н.П. Шевченко узнал от Валентина Распутина, что он в творческой дружбе с Гарием Немченко, тоже кубанцем по рождению, и сибиряком по профессиональной карьере. Именно Немченко в начале 60-х в Новокузнецке открыл имя Шевченко как передового бригадира монтажников, он стал героем его многих рассказов и романов, в том числе «Бригадира», который в 2012 году был отмечен Всероссийской литературной премией «Прохоровское поле».

Николай Петрович попросил передать привет Гарию Леонтьевичу, своему старому товарищу по Запсибу. Валентин Григорьевич весьма ответственно исполнил эту просьбу. А Гарий Немченко потом точно так же доставил его добрые слова Николаю Петровичу, когда приехал в очередной раз в Старый Оскол.

После приёма в администрации делегация литераторов разделилась — А.Казинцев и Ю.Кузнецов отправились в соседний, Чернянский район, а Валентин Распутин остался в Старом Осколе.

У него было намечено посещение Александро-Не-

вского кафедрального собора. Интерес к этому храму у писателя был вызван тем, что чуть больше трёх лет назад была воссоздана Белгородская и Старооскольская епархия, главой её назначили епископа Иоанна (Попова), уроженца Иркутска, с которым Валентин Григорьевич был знаком. Решением владыки Иоанна Александро-Невский собор в Старом Осколе определили вторым кафедральным собором епархии.

Настоятель храма, отец Алексей Зорин познакомил писателя с историей собора, отметил, что в своей многотрудной вековой биографии он ни разу не закрывался, всё это время проводились богослужения. Сегодня храм обретает новое дыхание.

Как молодежь относится к возрождению православной духовности, поинтересовался Валентин Распутин. Очень хорошо, пояснил отец Алексей, активно приобщается к нашим традиционным ценностям. Год назад при поддержке городской администрации открыта православная гимназия. Уже несколько лет выходит газета, учрежденная приходом храма, еженедельно готовит свои программы православный телеканал, который пользуется всё большей популярностью.

Отец Алексей горячо благодарил писателя за отстаивание нравственной чистоты народной жизни. А Валентин Григорьевич в свою очередь пожелал настоятелю храма, его прихожанам добра и благоденствия. Биография собора, деятельность его священнослужителей, прихожан, подчеркнул он, еще раз убеждают, что мы не ошибаемся в своих надеждах на историческую нестигаемость русской нации.

Из храма писатель и сопровождавшие его лица переехали в новую часть Старого Оскола, где в конференц-зале музыкальной школы №5 состоялась встреча с читателями.

Прежде чем зайти в школу, Валентин Григорьевич остановился, чтобы рассмотреть строящееся рядом здание. С явным одобрением — и опять же, даже с удивлением — воспринял пояснение, что это возводится новое здание городской библиотеки. Всё-таки подобные объекты в стране в ту пору давно прекратили строить.

Долгими, сердечными аплодисментами встретили писателя участники встречи — сотрудники городских,

районных, школьных библиотек, учителя литературы, другие работники образования и культуры. Зал был полон.

Девушки в национальных костюмах с поклоном преподнесли дорогому гостю хлеб-соль.

Учащиеся музыкальной школы дали небольшой концерт, исполнив отрывки из классических произведений. Валентин Григорьевич был растроган мастерством юных музыкантов.

Великого писателя тепло приветствовали белгородские и старооскольские литераторы. Свои стихи прочитали члены Союза писателей России Татьяна Олейникова, Владимир Молчанов, Сергей Леонтьев, Виктор Белов.

Затем ведущая предоставила слово Валентину Распутину. Говорил он в своей привычной манере — неторопливо, сосредоточенно, изредка позволяя шутовское замечание... Я оказался единственным журналистом, кто полностью записал на диктофон его выступление. Спустя и четверть века плёнка хранит характерные интонации писателя, паузы, в которых также немало важной информации... И нет ни одной мысли, которая бы сегодня потеряла свою актуальность. Точность художнического провидения, глубина взгляда в будущее поразительны.

Слово Распутина было о России, народе, эпохе, ответственности мастеров культуры, интеллигенции перед обществом и временем...

И было видно: в лице старооскольцев, своих читателей он нашёл близких единомышленников в понимании путей духовного возрождения России.

Почти два часа длился этот захватывающий диалог. У зала было немало ещё вопросов, но время поджимало, и надо было расставаться. И была очередь к писателю за его автографом. Для городской библиотеки в Книге её почётных посетителей Валентин Григорьевич сделал вдохновляющую и вместе с тем обязывающую для всех старооскольцев запись:

«Читателям городских, школьных и пр. библиотек. Кажется, Ст. Оскол лучший и, может быть, самый читающий город в России. Хотелось бы, чтобы уверенность в этом была без «кажется».

На память о пребывании в нашем городе Валентину Григорьевичу подарили картину старооскольского

художника Людмилы Зениной «В окрестностях Старого Оскола».

«Нас спасёт только своя, русская идеология»

Выступление Валентина Распутина на встрече со старооскольцами

г. Старый Оскол, 17 марта 1999 года

(Диктофонная запись)

Дорогие старооскольцы, я рад встрече с вами!

Да, существуют дежурные слова, например, такие, как «рад»... Всякий раз, когда приезжаешь в новый город, где ты ещё не был, конечно же, рад новой аудитории, новой встрече. Но, признаюсь, это всякий раз и ответственная встреча, и радость эта несколько тревожная.

Есть всё-таки названия, которые дороги сердцу, мне кажется, всякого россиянина. Старый Оскол для меня всегда стоял где-то рядом с Нижним Новгородом. Даже когда уже не было Нижнего Новгорода, когда он назывался по-другому — все равно где-то эти имена всё-таки стояли рядом.

Мне всегда казалось, что это несколько особый город. Я полагал, что ваш город несколько поменьше, он оказался побольше. И это тоже естественно. И слава Богу, что он оказался побольше.

Наконец-то вот свершилась мечта, и я оказался здесь, у вас. Этому способствовало и то, что у вас несколько такая особая обстановка в сравнении с другими российскими регионами, российскими областями. И то, что рядом с вами Прохоровское поле, на котором должен побывать, считаю, всякий россиянин. Точно так же, как на поле Куликовом, как на Бородинском поле, так и на Прохоровском поле должен побывать каждый. Это моя вина, что я свою поездку сюда затянул надолго, только теперь уже, на склоне лет, выбрался сюда... Надеюсь, выбрался не случайно. Потому что желание написать о том, что было на этом поле, у меня существует давно.

Каждый из нас даёт себе определённое задание. Точно так же и писатель: вот закончу эту работу, при-

мусь за другую... А там впереди — не обязательно это записывается в какие-то памятки, это просто остаётся в памяти — нужно сделать то-то и то-то...

Так и для меня. Как только я почувствовал себя русским человеком — а почувствовал, очевидно, не сразу, как и многие, вообще, из вас, — мне захотелось попасть на поле Куликово. В те времена, в 60-70 годы, это было труднее почувствовать, в 70-е годы, правда, было легче. Тут, слава Богу, грянул юбилей — 600-летие битвы на поле Куликовом. Я побывал ещё до этого, побывал уже крещёным человеком на поле Куликовом, потому что считаю, на этом поле русскому человеку нужно быть

крещёным, чтобы осознать до конца, что произошло на этом поле.

С тех пор у меня остаётся неосознанное желание всё-таки написать о сражении на Прохоровском поле, которое спасло Россию, точно так же, как спасла Россию битва на поле Куликовом. Где я ещё не был, повторяю. И это будет, скорее всего, не единственная поездка в Прохоровку. Вот завтра мы приедем туда, побудем час-полтора, два часа, может быть, даже побольше, но только этого времени хватит, чтобы лишь окинуть глазами это огромное поле, посмотреть эти знаки памяти, которые современники наши сочли возможным поставить на этом поле.

Но этого всё же недостаточно. Самое главное, может быть, когда я впервые почувствовал Куликово поле — это когда я вышел ночью на поле, представил, как и что здесь было, уже понимая, где стояли наши, где — татарское войско, где был засадный полк... Когда всё это себе вообразил, зная многое из того, что происходило века назад, тогда и написалось легко.

Сейчас писать стало вообще труднее. Стало писать труднее — и возраст, очевидно, сказывается, да и наша сумятица, в которой мы существуем, наше неблагоприятное положение — всё это сказывается. Писать стало труднее, но писать стало тем более необходимым. Поэтому и говорю, что я рад этой встрече, потому что для меня поездка сюда не только встреча с вами, а встреча с тем, где мне необходимо было побывать и что так или иначе необходимо делать.

К сожалению или нет, но остаётся у меня представление, что Россию спасут женщины. Я давно так

считаю, еще с 70-80-х годов, когда встречи с нами, писателями, собирали огромные аудитории, приходили десятки тысяч человек... Это считалось необходимым. Можно, конечно, и обосновать, почему это было необходимо. Но дело не в этом. Всякий раз я всматривался в зал и видел, что большую его часть составляют женщины. То есть, делал я вывод, они читали книги. Это не значит, что они были заняты меньше. Нет, разумеется. Вот и здесь я вижу по большей части женскую аудиторию, молодежь...

Повторяю, это не значит, что женщины заняты меньше. Женщина-то, как правило, занята больше. И всё-таки она находит время, чтобы и с домашними делами справляться, и со многими другими, и находит время заглядывать в книжку, и интересуется тем, что происходит в стране, наверное, больше.

Говорю это не потому, что мне хочется польстить вам: ах, вы милые, красавицы наши, без вас мы никуда... Без вас мы, разумеется, никуда. Но даже в мужской аудитории, когда бывает всего несколько десятков женщин, они задают вопросы лучше, интереснее... То есть у мужиков более прагматичные вопросы, что ли... А женщина, поскольку, видимо, всё-таки больше читает, она знает, о чём можно спросить, и спросить такое, что отвечало бы какому-то тонкому настроению её души.

А писателю это тоже лестно. Это лестно, когда задают необычные вопросы ... Есть вопросы, которые «катались» прежде от Бреста до Владивостока. И уже знаешь набор определённых вопросов, которые будут задаваться. Вызубрил ответы, и их надо, что называется, только вспомнить, и всё.

А есть вопросы, которые за душу берут и которые потом часто вспоминаются. У меня уже набралась не одна папка таких вопросов, которые мне были очень интересны. И время от времени я отвечаю на них, и когда приходится писать статьи — а я много их писал, правда, в последние года два всё-таки поменьше, а до того я, пожалуй, лет десять-пятнадцать занимался в основном публицистикой — и мне эти вопросы помогали. Достану свои папки, перечитаю вопросы — и мне легче оттолкнуться, взять то главное, что сейчас требуется читателю.

Вы знаете прекрасно нынешнее положение в на-

шей России, не вам об этом мне говорить, хотя, может быть, здесь, у вас, положение получше. У вас существует более — менее порядок. А в общем-то Россия живет в таком страшном беспорядке, такой страшной нужде... И у вас нужда, понимаю, есть, потому что устроить, скажем, из Белгородской области заповедник какой-то, где люди бы благополучествовали, в то время, как вся Россия живёт в нищете, — это не удастся, ни при какой власти это не удастся. И у вас есть свои проблемы, но всё-таки, мне кажется, вся Россия знает, что Белгородская область — это всё же несколько особая область, которая не разогнала свое хозяйство, не распродала его, как многие другие... У нас вот в Иркутской области, где были десятки строек коммунизма, а это огромные предприятия, мощные, выпускавшие разнообразную продукцию, — сейчас из этих крупных предприятий ни одного в нашей собственности не осталось.

Смотришь, одни — собственность граждан Израиля, другие — неизвестно, чья собственность, третьи переходят из рук в руки... Экономический фундамент области шатается, надламывается... По крайней мере, налоги они платят не в местную казну, а в московскую или какую-то еще другую. То есть при огромном богатстве минеральном, энергетическом, рукотворном, которым обладаем, мы остаёмся, в общем-то, нищими. Даже то, что у вас, на Белгородчине, учителя получают вовремя зарплату — думаю, в зале учителя тоже есть, — это значит многое. У нас учителя бастуют постоянно. То в одном, то в другом месте. И это при том, что губернатор — порядочный человек, умный, понимающий нужды всех, но ничего не может сделать. Достался ему нищий край, он постоянно озабочен, где взять деньги, как поднимать разрушенное хозяйство.

Внутри каждого из нас, очевидно, существует своя географическая карта. Во мне точно есть карта России. Я представляю на этой карте как бы светящиеся точки... В одних местах я побывал — там какой-то сигнал загорается, когда я обращаюсь к этому месту, в других местах — нет. И для меня всегда было какой-то неловкостью то, что на Белгородчине я ещё не был. А ваш владыка Иоанн — мой земляк, он тоже из Иркутска, хотя бы поэтому надо было здесь побывать. Да и много где я ещё не побывал, а может быть, теперь уже

и не побываю. Белоруссия, Украина — посетить там какие-то места теперь гораздо труднее, разумеется. Да и страна наша большая, уже возраст не тот, так что уже приходится, действительно, выбирать те адреса, где просто необходимо побывать, чтобы это пригодилось для работы.

Беда ведь иных писателей в том, что они много ездят. А писатель должен сидеть за своим рабочим столом. Я знаю писателей, которые никуда не ездили и создавали замечательные книги. Мало ездил Леонид Максимович Леонов, это один из наших лучших писателей, в конце мая ему будет 100 лет, вот совпадает с юбилеем Александра Сергеевича... Великий писатель нашего столетия, вместе с Шолоховым. Вот он ездил мало, а оставался таким писателем.

А есть люди другого склада, может быть, менее щедрого, которые всю жизнь добирают то, что дадено им господом Богом. И это необходимо добирать. Вот для меня впечатления необходимы. Хотя я из поездок вообще мало пишу. Бывали заграничные поездки, и сейчас они ещё изредка бывают, но редко пишу путевые очерки. Вот и сейчас вернусь из Белгорода — это не значит, что непременно сяду за статью. Но это останется. Это останется в общем представлении о нашей России и просто в представлении об этом крае, где вы живёте. А самое главное, говорю, мне придётся так или иначе ещё сюда возвращаться.

Были мы великой читающей страной. Действительно, это была самая читающая страна. Иногда по нашей привычке иронизировать мы посмеивались в 70-е годы над разговорами, что мы самая читающая страна, кому-то даже не нравились такие утверждения... Но ведь действительно читали, были миллионные тиражи журналов, сотнями тысяч экземпляров выходили книги. Для начинающего писателя давался самый маленький тираж — 30 тысяч. Где сейчас возьмешь такой тираж, кроме вот приключенческой литературы, кроме грязной, постельной литературы? Там могут быть такие тиражи. Серьёзная литература имеет сейчас тираж две-три-четыре тысячи экземпляров. Десять тысяч — это уже считается огромным тиражом. То есть, самая читающая страна в мире превратилась в самую нечитающую страну. И всё это произошло буквально в считанные годы. Всё это произошло с 88-

89 годов до 92-го года, за какие-то три-четыре года!

Это как же надо унижить, обесславить нашего человека, чтобы он сразу прекратил читать и отказал литературе в доверии! В таких случаях народ и читатель всегда прав.

Значит, произошло что-то такое, что заставило его отвернуться от литературы. Во-первых, он оказался в тяжелейших условиях, когда нужно было бороться за жизнь, когда он оказался без денег. Но даже если бы сейчас у него были деньги, думаю, читатель не сразу бы вернулся к книге. Потому что из доверия вышла вся наша интеллигенция. Вся наша интеллигенция, которая, понимаете, как-то по-сатанински вела себя — другого слова не подберешь, именно по-сатанински — во все перестроечные годы, особенно в 88-90-е годы. Я тогда был в эпицентре всех этих событий и принял какое-то участие в горячке. Я себя оправдываю, может быть, тем, что боролся за отечественное дело, за то, чтобы это дело не было перевёрнуто и куда-то отправлено в пыль...

Весь наш спор с интеллигенцией другого рода состоял в том, какой быть России. Оставаться ли ей на своём отечественном месте или превратить Россию во что-то, похожее на Запад. То есть, принести сюда чужие порядки и чтобы Россия стала такой, какой является Запад. Попытались это сделать, и сами видите, что из этого получилось: Россией мы перестали быть и Западом не стали. То есть вот это обезьянничанье — оно нам обошлось очень и очень дорого.

А ведь самые уважаемые люди среди интеллигенции тогда выступали за обновление... Перемены нужны были, я сразу оговорюсь, перемены нужны были, потому что кризис, который тогда ощущали — это был системный кризис, этот был кризис всей коммунистической системы. И тот же Белов, Бондарев, Астафьев, я в том числе — все мы же, в общем-то, стояли за перемены, за необходимые перемены.

Вот говорили: застой, застой... Дело ведь не в каком-то экономическом застое. Если судить по вашим краям, то этого экономического застоя как раз и не было, потому что Старый Оскол поднялся в 80-е годы. Да и у нас в Сибири его тоже не было.

Проблема была всё-таки в духовном застое. То, что необходимо было открыть шлюзы, — не хочется

мне упоминать это слово «свобода», потому что оно сейчас приняло какой-то негативный, нарицательный смысл — не шлюзы свободы, а шлюзы того воздуха, которым должен был дышать человек в России, — это ощущалось остро.

Это относится и к православию, и к нашей духовной культуре, которая была буквально отрезана по 1917-му году. Ведь даже классическую культуру, русскую литературу зарубежья, богатую, интересную — мы всего этого не знали полностью до самого последнего времени. Были у нас, слава Богу, Бунин, Куприн... Но как же можно было жить без Шмелева, без нашей богатой духовной литературы, без духовной философии, без того, что пришло сейчас к нам? Как можно было жить без Ивана Ильина, без его произведений? Как можно было жить без многих и многих других книг?.. Я был бы другим человеком, если бы прочитал всё это — сейчас их всех не перечислить — не в 45-50 лет. Хотя у меня появилась возможность всё-таки несколько раньше знакомиться с этой литературой, но тоже отрывочным образом. Вот съездишь куда-то, втихомолку привезёшь в чемодане одну книжечку — и её потом читаешь. А если бы в 20 лет я знал эту литературу, конечно, я был бы намного богаче. Я не хочу отказываться от своих книг, но они были бы наполненнее, насыщеннее необходимым духовным материалом. У вас в Старом Осколе, мне рассказали, есть, слава Богу, православный телеканал.

Меня сегодня спрашивали о том, верующие или не верующие мои героини. Старухи не могли ни при каком атеизме быть неверующими, они просто люди православного толка. Они родились в этой обстановке, в самые неверующие времена всё равно оставались верующими. Даже там, где не было иконки, не было молитвы, но весь склад мыслей этого человека, весь календарь жизни — он был подчинен всё-таки этому. Поэтому мои героини были, конечно, верующими, но этой веры недостаточно.

Иногда нужна была, очевидно, такая зрячая вера автора для того, чтобы книга была насыщеннее... Этого не было, разумеется. И то, что я узнал, пришёл к этому только где-то к пятидесяти годам — конечно, это великое опоздание. У молодых сейчас есть возможность знакомиться с тем, что нужно знать и писа-

телю, и просто человеку в более раннем возрасте. Но, к сожалению, пока не видно опять-таки результатов. Мы многого были лишены, но всё-таки старались каким-то образом добирать то, чего были лишены, какими-то, может быть, обходными путями. То есть не сразу постигали полную истину, эту истину как бы отколупывали с краю, потихонечку отколупывали и составляли какой-то калейдоскоп в своём сознании и своей душе. И он был достаточно верен. А сейчас вроде бы всё это есть, всё доступно, всё возможно, но нет плодотворных результатов...

Или вот эти трудности жизни, то, что нас унизили, ограбили, то, что с нами не считаются... Когда мне приходится ездить за рубеж — в прошлом году в Италию, в этом — в Индию, Индия, слава Богу, остаётся чуть ли не единственной страной, которая продолжает нас любить, уважать за культуру нашу — а так в Европе, вижу, к нам относятся совершенно как к последним людям, относятся самым унижительным образом. Раньше литературу нашу — а у нас в этом веке была достаточно богатая литература — переводили во всём мире очень много. Сейчас не переводят. Сейчас переводят Маринину, Нарбикова, Сорокина...

Читающие люди знают, например, достоинство Сорокина в том, что он работает с трупом, как он сам говорит. То есть, пишет картины в морге, картины, в которых представлены уже не живые люди. Нарбикова считает, что соловьи поют для того, чтобы слаще совокупляться, а, значит, всё искусство должно существовать только для этой же цели. О Марининой, авторе книг детективного жанра, вы слышали прекрасно, знаете, что она уже работает как фабрика. В Италии она переводится хорошо, есть даже особый отдел в книжном магазине Милана, там вырядили двух девочек в нашу милиционерскую форму и рекламируют её книги. И, видимо, они расходятся.

Но это как нарочно. Сейчас переводится именно это, самое худшее, до чего докатилась русская литература. И мне кажется, делается это сознательно, чтобы доказать, до чего упала наша словесность, которая ещё 15–20 лет назад достигала своих огромных творческих высот.

В Германии есть такой литературовед, славист Вольфганг Казак. Я знаю его, он хорошо знаком с

нашей литературой. Недавно мне попало на глаза его интервью, где он тоже говорит, что сейчас в Германии не переводят хорошую, серьёзную русскую литературу, а переводят только тех, кто как-то старается подражать Западу и пишет приключенческую или сексуальную литературу. Для Запада интересно, как наши умеют писать сексуальную литературу. А они не умеют... Как всякие неофиты они исполняют это чересчур старательно, и у них это получается ещё гораздо более грязно, чем на Западе. До того противно это получается... А Западу это любопытно: вот до чего докатилась, до чего упала русская литература. И они переводят её в качестве образца низкого искусства.

Так вот, Вольфганг Казак назвал ещё одну причину, почему не переводятся наши хорошие книги. Ведь почему Запад в 60–70-е годы переводил советскую литературу? Потому что Россия была для Запада врагом. Это, может быть, говорит он, не главная причина, но нужно было врага знать, знать не только его жизнь, но и его душу.

Скажем, та же деревенская литература — она как раз и являла русскую душу. И Западу это было интересно, там с удовольствием переводили, изучали. А сейчас что? Россия перестала быть врагом, она, по словам слависта Казака, уже упала ниже некуда. В Германии сейчас переводится иракская литература, потому что враг переместился туда, в Ирак. И им надо знать, что представляет собой душа иракца.

Мне тоже такое объяснение кажется несколько сомнительным, как и вам. Но Вольфганг Казак сведущ в этих делах и напрасно говорить не будет. Повторяю, это не главная, очевидно, причина, тем не менее...

И всё же русская литература жива, я даже писал по этому поводу статью. Она печаталась — и не в одном издании. Но у нас сейчас то, что печатается в Москве, до Белгорода не всегда доходит, а если что-то печатается в Белгороде — тут и оседает. При малых тиражах журналов и тонких, и толстых — конечно, не доходит.

Русская литература жива, я уверен в этом. Она все эти годы жила очень трудной жизнью. Сейчас наша культура поделена на две части. Есть у Виктора Розова хорошее слово... скажу об этом чуть позже... Сейчас появилось много слов, которые пришли к нам с Запада — «презентация», скажем. В зубах ведь навязало.

Даже деревенские люди говорят — «презентация». Слушают по телевизору... А спросишь, что такое презентация, скажет: ну, столы накрыты, это презентация. Это очень правильно, потому что русский человек никогда не скажет «презентация». Если он знает язык, скажет «представление». Зачем нам иностранное слово, если существует своё, хорошее слово? Есть предметы, понятия, которых не было в русском языке, может, тогда необходимо что-то перенимать. Но ведь объяснять можно не обязательно одним словом, Можно и двумя объяснить, чтобы нам не обезьянничать до конца. А то мы перешли через одно влияние — немецкое, потом французское, теперь английское ...

И это, кажется, последнее... До трёх раз можно это делать. Последнее в том смысле, что или Россия утонет в этом влиянии, или она освободится и возьмётся в конце концов за ум.

Русская литература — она как бы даже отсиживалась. Потому что из-за малых тиражей действительно была неизвестна, а книги ведь хорошие. Борис Екимов, Пётр Краснов — замечательные писатели... Продолжают работать Виктор Лихоносов, Владимир Личутин, Евгений Носов, да и многие другие... Из молодых — Юрий Козлов, Александр Сегень, они печатаются в журналах «Наш современник» и «Москва». Очень хороший журнал «Москва», у него сейчас совсем небольшой тираж, кажется, семь тысяч. Там есть раздел «Домашняя церковь», это единственный журнал, который даёт хорошо этот раздел. Я не агитирую ни за «Наш современник», хотя мы приехали сюда с этим журналом, ни за другие литературные издания... Вообще агитировать ни за что не хочется, ни в чём вас убеждать не хочется — ни в коммунизме, ни в демократии. Мне кажется, жизнь нас так научила в последнее время, так носом о землю натыкала, что никого ни в чём убеждать совершенно не надо. Если уж мы не смогли сами разобраться, никто нам не поможет — ни Ельцин не поможет, ни Зюганов, ни Лебедь, никто совершенно... Пришла пора разбираться самим, кто чего стоит. А если не можем — поддаёмся на ту пропаганду, а это особая технология — то, как управляют нашим сознанием. Оказывается, что во всех этих передрыгах самый ненадёжный материал — человеческое сознание, которым легко руководить.

Для меня — простите, прыгаю с одной темы на другую, такой уж склад ума — для меня это самая непонятная вещь. Ведь каждый из нас — личность, а с приходом демократии тем более должны быть личностью и понимать, что чего стоит, и чего мы сами стоим.

Но ведь мы сами себя не уважаем, когда поддаёмся вот этому целенаправленному управлению своим сознанием. И самое удивительное, может быть, в том, что малообразованные люди, где-то в деревне, — они ведь оказались умнее нас, людей образованных, гораздо умнее. Как стояли они на земле, так на ней и стоят. Они знают, за кого надо голосовать, какой стороны держаться, они знают, какими словечками бренчать и какими не бренчать. И зря бренчать не будут. И вот вся-то надежда как раз на них, на то, что они-то явятся той коренной породой — а ведь народ это не есть население, народ — это та коренная порода, которая хранит наши отечественные ценности, традиции, глубинную мудрость. Народ — это совсем небольшая часть нашего населения. Но если этот народ жив, если живы при нём эти ценности, значит, не так уж в конце концов и страшно.

Говорят, мы стали читать меньше, потому что и денег нет, чтобы покупать литературу. Но вы, кто бывает в библиотеках, наверное, и сами знаете — в библиотеках-то читателей как раз стало больше. Мне долго объясняли это тем, что сейчас у студентов нет своих библиотек, они не могут покупать книги и за всяким справочным материалом им приходится бежать в библиотеку, доставать нужные книги. Я как бы убеждался, но всё же не до конца верил в это... А сейчас уже знаю точно: нет, дело совсем не в этом, дело не в справочной литературе только. В библиотеки ходят и люди пожилого возраста, причём они с осторожностью берут новейшую литературу, даже лучшие её книги, но активно обращаются к классике.

Читают Толстого, Достоевского... Удивительно, как быстро распознали Шмелёва и стали читать его, особенно «Лето Господне» и «Солнце мертвых». Всякий раз, бывая в библиотеках, я даже прошу рассказать, что чаще всего спрашивают, что больше всего читают. Отвечают: «Солнце мертвых», «Лето господне», читают Бунина...

Сейчас читают классику больше. Очень хорошо читают Лескова, а в прежнее время, как мне кажется, его читали меньше. А сейчас, видимо, усиливается тяга к коренному, к русскому языку, а Николай Семёнович Лесков – один из лучших русских писателей. Читают поэзию.

Так что дело, очевидно, не только в этом. Мы, наверное, не окончательно потерянные читатели и не окончательно потерянная читающая страна. Это ещё может вернуться.

Это не вернётся в том же объеме, но, возможно, тот же объем совершенно и не нужен. Вообще культура не может повторить культуру девятнадцатого века, не может быть такой богатой. Не повторит литературу культура двадцатого века, потому что уровень культуры сейчас сильно упал. Он упал везде в мире, а Россия – ну, что ж поделаешь, ей не удалось сохранить себя, не удалось сохранить свою самобытность, – она всё равно подчиняется так или иначе тем законам, которые происходят в мире.

Подъём культуры будет, и Россия ещё долго будет оставаться страной культуры. Но этот определённый уровень её всё-таки должен снижаться, если всё останется так, как происходит сейчас.

Мне бы не хотелось читать вам какую-то лекцию. Я только ещё хочу сказать об одном, а потом попрошу вопросы задавать, – о молодёжи. Вот говорят, у нас такая страшная молодёжь, жуткая молодёжь, с этой молодёжью России ничего не добиться, не из каких глубин ей не выкарабкаться, потому что уходит старшее поколение. Оно владело истиной, которой надо владеть человеку, а новое поколение – как присоски возле телевизора. Да, телевизор – это великое зло, страшное зло. И более грязного телевидения, чем в России, нет, поверьте мне. Это не мои слова, это говорят западные люди, которые приезжают к нам, смотрят наш телевизор. Это говорят наши эмигранты из Америки, Франции, других стран. Более грязного, более разрушительного инструмента уничтожения души нет нигде. Потому что поставлена задача разрушить сознание молодёжи, привести её к определённому знаменателю, имеется ввиду безнравственный знаменатель.

Но мы же ведь сами виноваты. Я не знаю, как у

вас... Но мне кажется, у каждого человека доля вины за то, что произошло с нашей страной, должна быть. Больше виноваты, меньше виноваты, но доля вины должна быть.

И это угнетённое состояние души, которое существует, как мне кажется, везде в стране, как раз и идёт от этой вины. Это угнетение, эту вину надо как-то преодолевать. А молодёжь – да, мы сами окунули её в это дерьмо, сами позволили случиться тому, что случилось. И она сейчас в гораздо более страшном и жестоком положении, чем поколение до того, потому что она не знает, что ей делать. Учиться? Профессии сейчас неизвестно, кроме юриста и экономиста, какие пригодятся. А что будет с нашей страной завтра? У нас завтра, может, действительно правосудие будет? И та юриспруденция, которая учит защищать неправых, она, может, больше не понадобится. Экономисты – да, всегда необходимая профессия, но ведь тоже может быть своя экономика, не только на западный образец. Это может быть действительно экономика, которая будет служить отечественным нуждам.

А потом, видите ли, уж если мы, люди старшего поколения, разделились почти на равные части: одни принимают этот порядок, другие – нет. Правда, в последнее время эти части далеко неравные, а были когда-то ведь равные, в начале 90-х годов, хотя было и без того всё ясно, открыто, что за люди пришли, что эти люди могут принести России, – уж если мы поделились, то что же спрашивать с молодёжи. Молодёжь сразу попала под это тлетворное влияние. Она сразу увидела, что мы не можем договориться, и ей труднее было ориентироваться.

И всё же мне кажется, что молодёжь не настолько потеряна. Тут я могу сослаться

на свой пример. Спасибо девушке, которая здесь настолько грамотно изложила, где, когда я родился – без всякой иронии это говорю, потому что когда обычно дают справку залу о госте, то перепутают буквально всё... Здесь же сделано всё очень точно, с уважением, это говорит об отношении и ко мне, и вообще к факту. Великое спасибо!

Так вот тут упоминалось, что я лауреат совместной российско-итальянской премии.

Да, лауреат. Я начал говорить о слове, которое дал

Розов, он дал прекрасное определение — «холуяж». То есть существует интеллигенция, которая толпится возле трона, которая обслуживает власть и которая живет припеваючи. Это одна интеллигенция.

Вторая интеллигенция — та, которая не может смириться с этими порядками, это оппозиционная интеллигенция, это отечественная интеллигенция. Вы о ней почти ничего не знаете, потому что до экранов телевизора нас никто никогда не пустит. Не пускают пока ещё, изредка лишь... Кто-то мне рассказывал, что месяца три или четыре назад по радио читали мой текст из «Живи и помни». Как это случилось, что по демократическому радио читали мой текст? Это полная для меня неожиданность.

Значит, что-то всё-таки меняется. То есть, та интеллигенция, которая празднует, которая всё время на презентациях, которую вы видите на экранах, и прочая, прочая — это только одна интеллигенция. Та интеллигенция, которая стоит за Россию, — она как партизаны где-то в лесах. Ни привета ей, ни совета. Издательства наши бедные, совершенно разорившиеся. За книги гонорар чаще всего не можем получить, потому что нам не могут заплатить эти бедные издательства. Печатаемся в газетах, где тоже гонорар не в состоянии заплатить.

Я вовсе не жалею свою жизнь, я как раз чувствую огромное моральное облегчение, что приходится жить таким образом. А то ведь в советское время я чуть ли не богатеньким стал, когда много издавали. И как-то уже тяжело было — сберегательная книжка появилась, гонорар идёт... Но слава Богу, потом всё это пришло к логическому концу, что ли ... (Смеется — В.В.). Всё это пошло прахом.

И сейчас как-то легче, нечего терять, никакая ноша не давит тебя особенно. Когда рассуждаем об интеллигенции, знаете ли ведь, ответственность особая на каждом из крупных деятелей. Михаил Ульянов, с которым мы были очень дружны, или Кирилл Лавров, или Олег Ефремов, которых любила и знала вся страна, — они ведь были одни из тех, кто помог перевернуть культуру совсем на другой бок, на другой лад. Они ведь эту нечисть пустили и в кино, и в театры...

Вот нынче говорят: ах, мы задыхались от цензуры.

Да, та цензура, которая действовала тогда, она и не должна была быть другой. Но — была цензура, и была литература! Была цензура — был театр! Была цензура — было кино! Где сейчас это кино? Нет кино. Никита Михалков «Сибирского цирюльника» поставил...

Единственный фильм в сегодняшнем нашем кинематографе, заслуживающий какого-то внимания... Никита Михалков — это просто делец, он знает, для чего ставит. Он хочет быть или монархом, или хочет получить очередного «Оскара»... Фильм неважный, несерьезный, богато сделанный... Но Никита Михалков один, больше-то кино никакого нет!

Так что дело не в цензуре вовсе. И тот же режиссёр Виктук, который немало способствовал «обнажению» искусства, — у него на сцене голые люди ходили, чуть ли не совокуплялись... Что сейчас говорит? Я читал его интервью, приехал он в Америку и признаётся: раньше в СССР был ненавистный строй, но я его любил, в нем хорошо работалось, а сейчас не могу работать в этих условиях, когда всё возможно делать, но настолько вокруг грязная обстановка, что мне трудно работать.

Не зря ведь Виктук пошёл к Дорониной, ставит спектакль в её театре. В театре, который, как мне кажется, достойно несёт имя искусства.

Так вот, я опять делаю большой перекид, возвращаюсь к премии, которую тут упомянули. Эту премию присуждали ребята. Процедура проходила в два этапа — сначала профессиональное жюри, в нём кроме итальянских были и наши, демократические писатели, они выдвигали трёх человек — финалистов этой премии.

Были выдвинуты Фазиль Искандер, Людмила Петрушевская и я. Каждый из нас получал небольшую сумму... Но дальше дело передавалось в руки ребят. Четыреста школьников, гимназистов, студентов московских вузов, причем элитных вузов, в том числе МГИМО, Литературного института, педагогического университета... Казалось бы, там и богатеньких ребят много, в этих гимназиях... Им распечатывались и давались наши произведения. И они в зале Центрального дома литераторов тайным голосованием, послушав перед этим нас, трёх писателей, определяли, кому быть главным финалистом. Замечу, это был 96-й год,

парила либеральная атмосфера — но главный приз получил я.

На следующий год выдвигались Борис Екимов, Улицкая и Виктория Токарева, Тоже все серьезные претенденты. Борис Екимов как бы русского направления, остальные — западного направления, особенно Улицкая. И опять эти ребята, которые бы, казалось, не должны ничего понимать, на наш взгляд, голосуют и избирают Бориса Екимова.

И вот в прошлом году были Борис Васильев, Евгений Носов и какой-то молодой автор, фамилию его не помню, потому что ничего у него не читал. Тут финалистом стал Борис Васильев. Тоже всё справедливо.

Понимаете, и вкус у молодёжи, оказывается, остаётся. И не потеряно чутьё к литературе... Может быть, поэтому не стоит вообще категорически судить о молодом поколении. Это всё-таки определенный довод в отношении молодёжи, нельзя нам к ней относиться, как к какому-то потерянному поколению. Изменись сейчас обстоятельства, изменись многое — и, наверное, всё вернется. Должна же быть генетика, от родителей должна же она передаваться. Должно же быть сострадание к своему народу, к своей стране, не все же мы рвёмся бежать в Америку, потому что там жизнь лучше. Вовсе нет. Да и сейчас, мне кажется, меньше рвутся. Не все же учат английский, французский языки только для того, чтобы там разговаривать.

Когда приходится встречать наших эмигрантов за границей — ну, ладно, еврейская община всегда поможет своему устроиться, а наши богачи как-то так... и заговорить с тобой не могут. И хочется им заговорить и не знают, о чём заговорить, но чувствуется — тошно им там, тошно даже при всём своём богатстве.

Нынче плохо у нас... Иногда, может быть, даже очень плохо бывает. Но мы дома, в России, И этим-то нам хорошо. Ну, вот всё для начала, очевидно. Готов послушать вас, ответить на вопросы. (Аплодисменты).

- Уважаемый Валентин Григорьевич! В вашем выступлении прозвучала мысль - если я её правильно понял - о продажности нашей интеллигенции, о её вине перед обществом. Насколько вина интеллигенции в том, что случилось сегодня в России? И есть ли у нашей интеллигенции силы повиниться перед народом

и повернуться в другую сторону? Или это неизбежность?

- Вина интеллигенции огромна, просто огромна. Причем, уже не в первый раз. В этом столетии уже во второй раз. Почти вся либеральная интеллигенция начала века — а там были известные люди — весной 17-го года превратилась в радикальную интеллигенцию. Она позволила тому, чтобы свершилась февральская революция. После чего и начались известные события.

Историю, как вы знаете, обратно не поворачивают. Я сейчас не к тому говорю, что вот не было бы Октября... У меня на этот счет свой взгляд. Я считаю, коммунизм — он был неизбежен. Революция была неизбежна. И слава Богу, что после Февраля был Октябрь, потому что февральская революция с теми свободами, которые она предлагала — она бы полностью извратила Россию.

Коммунизм тоже немало повоевал с национальной Россией, тут можно много грехов коммунизма перечислять. Но России легче было национализировать коммунизм, чем это было бы после того, что принесла бы февральская революция. Она национализировала коммунизм. В 70-х годах, по крайней мере, к 80-му году — для меня это какой-то рубежный год — празднование 600-летия битвы на Куликовом поле, — уже всё, с национальной Россией ничего нельзя было поделывать. Не зря же появилось это понятие — национал-коммунизм. Потому что действительно, он стал защищать национальные, государственные интересы, даже культурные интересы. Уже близко было к тому, чтобы и храмы открывались, и всё прочее... Это Яковлев (А.Н.Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС по идеологии — В.В.) себе потом присвоил славу, что якобы он передал Оптину пустынь церкви. Да она готова была к передаче, он просто изловчился, поехал с теми возможностями, которые у него были, сделал этот акт передачи для того, чтобы завоевать и моральный, и политический авторитет.

Вторая вина интеллигенции - вина во время перестройки, особенно 88-89-й годы, когда опять-таки либеральная интеллигенция создала Межрегиональную группу, которая страшные дела делала. Это всё

происходило на моих глазах, я был тогда на съездах народных депутатов СССР. А потом она поддержала то, что случилось в октябре 1993-го года, поддержала и продолжала поддерживать, одни это делали, возможно, из ненависти к коммунизму, а вторые — из ненависти к национальной России, которая к этому времени стала подниматься в полный рост.

Многие продолжают поддерживать нынешний режим, несмотря ни на что, хотя эта власть полностью обанкротилась... Интеллигенция же продолжает поддерживать, по большей части. Наиболее умная часть из неё отошла в сторонку, не хочет иметь ничего общего ни с этой властью, ни с кем-то еще.

И я убеждён: интеллигенция каяться не будет. Мне вот каяться не в чем. Простите, я всю жизнь положил, отстаивая народные, национальные интересы... Или тот же Василий Белов, Крупин — жизнь положили на это. Хотя, в конце концов, всегда есть в чём каяться. Но я за пятнадцать лет не написал ни одной книги, потому что постоянно за что-то боролся. Боролся за культуру, потому что в 80-е годы нахлынула вся грязь, которая была. Она же не в 91-м году только пришла, она пришла раньше. Нужно было бороться за культуру, за нравственность, и мы готовили закон о нравственности, была комиссия в министерстве культуры Николая Губенко, который тоже прекрасно понимал, что происходит. Приходилось бороться против поворота северных и сибирских рек, за Байкал, да за многое что приходилось бороться.

Повторяю, в сущности пятнадцать лет я почти не писал. Я считаю, что эта жертва была не маленькая.

А другие, такие, как Марк Захаров, они не будут каяться. Они считают, что так и должно было быть. Юрий Афанасьев — он каяться не будет. После Межрегиональной группы он счёл необходимым не иметь ничего общего с этой властью, дистанцировался от неё, у него свой университет, гуманитарный... Но когда ему приходится встречаться с аудиторией, говорит: а какая разница, когда Россия завоевала Волгу, когда Казань была взята — в XVI веке или как Кавказ — в XIX веке, всё равно это несправедливое завоевание Россией. То есть, он науськивает и Татарию, и Кавказ к отделению от России. Словом, эта политика крайне либеральная в сущности, разрушительная продолжа-

ется. Конечно, они ни в чём каяться не будут.

Приезжала к нам в Иркутск прошлой весной Мария Розанова, это жена Андрея Синявского, который, как вы знаете, не так давно скончался. В последнее время они решительно выступали против власти Ельцина, и дело доходило до резких выражений, даже в 93-м году. Но Мария Розанова приезжала в Сибирь с целью агитировать, чтобы каждая земля — и национальные республики, и просто области — выходили из состава России. То есть желание окончательно раздробить, погубить Россию у многих остаётся.

Поэтому, повторяю, надежды на интеллигенцию возлагать сейчас не стоит. Нужно, чтобы прошло время, чтобы если не отмолена была вина интеллигенции, то, по крайней мере, отошла бы эта вина, чтобы появилась новая интеллигенция, более преданная России, тогда она может повести за собой. А сейчас, я думаю, только авторитарная власть нас может спасти. И нужно действительно выбирать с умом.

— В своей Нобелевской лекции Солженицын нацартал некие нравственные нормы для человека в борьбе с гнетущим давлением среды. Считаете ли вы, в теперешних условиях каждый здравомыслящий человек должен обладать какими-то особыми нравственными нормами? И возможно ли это? И второй вопрос. Вы полагаете, что интеллигенция спасти Россию не может, тогда как быть с национальной идеей? Если оглянуться назад — не видно в этом опоры. Вы говорите о здоровой почве нашей деревни, но деревня, как таковая, сейчас разрушена...

— Не соглашусь с вашим мнением, что деревня разрушена и деградирована. Нет, вовсе нет. Всегда замечается самое худшее, всегда оно лезет в глаза. И то же самое и у меня было. У меня были периоды, еще в старые времена, когда казалось, что деревня уже спилась, не хочет ничего делать...

Может быть, кто-то из вас заметил, в минувшем году, летом, кажется, газета «Аргументы и факты» брала у меня интервью. Причем журналистка одни и те же вопросы задавала: что вот русский народ спился, русский народ не умеет работать и никогда не умел, русский народ — вор, он смотрит только как бы украсть, русский народ — взяточники, каждый человек, который проникает во власть — он обязательно

взяточник. Только на один вопрос ответишь, она предъявляет новое обвинение.

Но, простите, если бы это было так, то разве этот народ освоил бы, приобрел бы шестую часть Земли? Вот этот ленивый, ни на что не годный народ? Этот народ ведь много чего сделал и в 60-е, и в 80-е годы. Крупные стройки коммунизма — может быть шума было много — но этот шум ведь был не из ничего, не на пустом месте.

Говорим о терпении людей... В грех народу его терпение записываем, подчёркивая, что народ ни на что не способен, не способен постоять за себя... А, может, это всё-таки проявление мудрости? Я к этому подхожу как к мудрости. Нам удалось избежать кровопролития, которое было неизбежно... Если бы народ поднялся три-четыре года назад или в 93-м году, кто знает, чем бы всё закончилось... Мне тогда казалось, что это вообще позор — народ промолчал, не вступился... А сейчас для меня представляется очевидным, что в этом был спасительный смысл. Удалось избежать столкновения, и сейчас есть надежда, что мы постепенно не к старому порядку вернемся, а к порядку, который подобает этой стране.

Или вот утверждают: народ — взяточник. Но я читал в некоторых воспоминаниях эмигрантов, в том числе и у Бердяева тоже, у Федотова это есть, — когда они были высланы на Запад и приехали туда, то нашли там такое взяточничество, которого в России просто быть не могло. Действительно, не могло быть, например, при Столыпине. При нём вообще появились новые порядки. Да, немало было взяточничества, но пришёл человек сильной воли и буквально за десятилетие сумел поставить порядок в России.

О Солженицыне, о его нравственных постулатах, прежде всего таких, как жить не по лжи и о самоограничении... В общем-то они остаются и сегодня очень важными. Вот в декабре справляли юбилей Александра Исаевича, я выступал тоже на торжественной церемонии, когда он отказался от ордена... И я размышлял в своём выступлении, что значит жить не по лжи. Говорил, что его лозунг «жить не по лжи» был обращён к коммунистическим временам, но ещё острее он относится к нашему времени. Разве мы сейчас живём по правде? Разве власть живёт по правде?

Лицемерие, ложь проявляется сегодня сильнее гораздо. И Солженицын с этим соглашается.

Самоограничение? Да. Вообще даже самая богатая страна должна думать о самоограничении, об этом должны думать и мы, хотя живём в великой бедности. Не надо гоняться за западным богатством, искать смысл жизни и идеалы там. Потому что это страшное расточительство. Должны быть умеренные желания, следует иметь только то, что необходимо для жизни. Ничего лишнего! Жить в достатке. Было прекрасное слово «достаток». То есть иметь только то, что достаточно для жизни. Ничего лишнего не убивать, не приобретать, не добывать... Потому данный постулат тоже остаётся.

Мы находимся, действительно, на каком-то жутком перевале — 2000-й год приближается. Конец века, до нового тысячелетия остаётся менее двух лет... Мы избранники, но избранники какого-то удивительного события, ответственного и страшного события, которое грядёт. Казалось бы, что тут такого — подходит эта круглая дата, мы переходим из второго в третье тысячелетие. Но ведь мир и время, как мне кажется, уже приспособились к этому календарю. И в этой самой высокой точке, когда можно обозреть, очевидно, не только прошлое, но с которой можно обозреть в какой-то мере и будущее, — это событие не может пройти спокойно, не может пройти рядовым образом, так, что мы заснули во втором тысячелетии, а проснулись в третьем.

Что грядёт для нас — трудно сказать. Но посмотрите, сейчас известные внешние силы вмешиваются в нашу жизнь. Мы объявили технологическую революцию, но получили технологические катастрофы, подобные Чернобылю. Объявили сексуальную революцию — пожалуйста, что получилось: западные и северные страны, те же Швеция, Дания, да и не только они — там это привело просто к импотенции мужчин. И государство сейчас выделяет квоту на завоз из арабских и африканских стран мужчин в эти страны, чтобы продолжить потомство. И это не анекдот, так оно и есть. А самое главное, в результате сексуальной революции получили стопроцентное попадание — заболевание СПИДом. Вот сейчас в мире уже более 100 миллионов таких больных.

Что будет дальше?

И вообще, сколько будет лет в XXI веке? Если с таким западным образом жизни — Россия сейчас уже не в счет, — если следовать ценностям западной цивилизации, этих запасов надолго не хватит. Поэтому человеку приходится или переходить на режим экономии, или просто готовиться к Апокалипсису.

— Валентин Григорьевич, разрешите вначале поклониться Вам за то, что всегда остаётесь самим собой, русским человеком, болеете за Россию. Хочу задать вопрос, который вызывает у моих учеников сомнение. Последний Ваш рассказ «В ту же землю», где главная героиня Пашута, современная молодёжь никак не может понять: как это так, дочь решила похоронить мать в лесу, не на кладбище... Были ли у Вашей героини прототипы?

— Были, были. И не один прототип был. Знаете, в этих новых городах — Братск, Усть-Илим — прежде были такие районы, назывались они Нахаловка, то есть самострой. Квартир не хватало, и люди что угодно — дощечки тащили, землянки вырывали, без всякого разрешения иногда строились... а у нас если временно построят, то долго быть. Как известно, временки у нас стоят дольше всего.

Точно так же — ну, сейчас это стало поменьше, — но в 91-92-м годах, когда обнищание было совершенно полным, даже в Сибири хоронили в целлофановых мешках — не на что было похоронить, просто так сваливали... Отсюда, от вас, этого обнищания, может, не видно, а вообще обнищание в России страшное, конечно.

А Пашута, понимаете, у нее нет денег... Да, она растеряла своих друзей, растеряла, может быть, из-за гордыни определенной своей, но дело даже не в этом. Деньги она, в конце концов, могла бы найти. Она могла бы пойти в доме по лестнице, постучаться: помогите, люди добрые, похоронить мою мать! И люди отозвались бы, они не зачерствели настолько, чтобы не помочь предать покойника земле. Но вот мерзостные условия жизни оставляют такой мрак в её душе, что ей кажется: она не имеет права ни к кому обращаться, что мы настолько подельники одного жестокого дела, которое допустили, и что не можем теперь сдвинуться вместе для чего-то, что каждый обречён быть в оди-

ночестве до определённого периода. Этот период я в конце обозначаю, когда она приходит в храм. И она одна не потому, говорю, что мать хоронит отдельно, а потому что она вот не может быть со всеми вместе. Ей нужно, чтобы и здесь она была только одна.

— Должна ли быть в обществе, по Вашему мнению, Валентин Григорьевич, какая-то идеология и в чём заключается национальная идея? Вы согласны с тем, что человек, который отстаивает её, — националист?

— Я считаю, что должна существовать идеология. Да, если с этой точки зрения смотреть, то я — националист.

Какая в России должна быть идеология? Да русская идеология. Точно так же, как Китай спасёт китайская идеология, Индию — индийская идеология, нас спасёт только своя идеология, русская идеология. И поэтому жизнь, может быть, будет трудная, но это будет своя жизнь. И поймёте потом к старости, что вы ничуть не ошиблись, когда начнёте перебирать какие-то другие идеалы, символы. У вас есть вера, которую вам передали предки, у вас есть земля, которую вам передали тоже предки, у вас есть устав жизни, тоже ими переданный. Тот устав, который существует сегодня, — он временный, у нас у власти находятся временщики, а как всякие временщики они уйдут. Они уходят, приходят другие, но другие уже будут ближе к тому, какая власть нам нужна.

Может быть, она не сразу будет — та власть, но она будет обязательно. Сейчас происходит политика вытеснения антироссийских сил, и, надеюсь, будет происходить дальше. В этой политике вы не должны приходить на готовенькое, а просто участвовать в этой большой и важной работе. Это национальная работа и это самая главная отечественная работа.

Успехов и удачи вам в этой работе! Спасибо большое! (Аплодисменты).

К публикации подготовил
Виктор Вербкин,
г. Старый Оскол



ИРИНА КАЛУС

Родилась 21 декабря 1974 года
в городе Армавире. Доктор фи-
лологических наук, профессор.
Публиковалась в «Москве»,
«Нашем современнике»,
«Молодой гвардии», «Парусе»,
«Завтра», «Дне литературы»,
«Родной Кубани» и др.
Живёт в городе Ессентуки.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН — «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО»?

«Женский разговор» с писателем

«ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ИЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО»?

Вчитываясь в творчество того или иного автора, всегда пытаешься разглядеть те смысловые пики, которые простирают свои вершины в бытие вечности. Именно такое вещество живой жизни, которое никогда не утрачивает своей силы, создаёт своему творцу мощную проекцию, перенося его в будущее. И читая «говорящие слова», проникаясь «живыми смыслами» читатель ощущает пророческий дар того или иного автора, называя его человеком будущего.

Просматривая зрелое творчество Валентина Григорьевича Распутина, его поздние интервью (одно из таких было опубликовано в самом первом номере журнала «Парус» в 2010 г. с заглавием «Главную нравственную роль сейчас играет женщина»: http://www.hrono.ru/proekty/parus/rasp_parus.php) и желая распознать эти «маяки будущего», видим лишь горькое разочарование писателя в будущем и настоящем, неприятие произошедших с нами «перестроечных» и «постперестроечных» перемен, утрату веры в какие-либо благие для России и наших современников грядущие события: «...Сам я в последнее время как-то... потерял надежду»; литература — «умирает, умирает. Протянет еще лет двадцать — и умрет во всем мире»; Россия — «надорвалась, изменила себе»; «От России осталось одно понятие. И то — с издевочкой. Разве прежде такое было возможно?». А на вопрос о том, возможно ли сегодня взрастить нового, сильного русского человека, способного противостоять сегодняшней торгашеской жизни, писатель отвечает так же пессимистично: «...Я бы хотел взрастить такого человека, но плохо получается. И, пожалуй, уже не получится».

Так куда же, вперёд или назад, был обращён взор

этого неоднозначного прозаика, который не любил спрямлённых «лобовых смыслов», который при жизни стал «живым классиком», а произведения которого до сих пор вызывают неутихающие споры, как было с повестями «Живи и помни», «Дочь Ивана, мать Ивана» и др. Кто Вы, Валентин Григорьевич, «человек будущего» или «человек прошлого»? Не судите строго за «женские вопросы» — надеюсь, они будут Вам понятны, ведь глубина именно женской натуры чаще всего проявлялась в Ваших произведениях во всей её полноте и чаще всего Вы беседовали именно с женской душой.

Тогда в интервью журналу «Парус» Вы сказали, что надежды Ваши и чаяния связаны именно с женщиной, столько раз выносившей на своих плечах невзгоды и тяготы самых сложных времён. Напомним эти слова: «Я поначалу посмеивался, думал, женщина она и есть женщина. Она, конечно, всегда спасала, но не ставить же ее впереди мужика. А вот — она уже впереди. Везде, где инициативу на себя берет женщина, у нее все получается. Она умеет работать, знает, что и как нужно делать»; «Сегодня, я знаю, собираются люди, читают книги (не только мои), размышляют о том, что происходит в России. И это, в основном, опять-таки женщины. Перевернулось все. (...) Главную нравственную роль сейчас играет женщина».

Поясним, что речь здесь идёт не об установлении матриархата, а о той незаменимой роли женщины, которая равна обязательному компоненту полноценной жизни, — роли, которую в нашем обществе может сыграть только она. При её отклонении от своего пути восполнить нехватку этого «женского ресурса» уже невозможно — разве что подключением «женоподобных мужчин». Но такой выход ситуации не поправит, лишь внесёт тотальный дисбаланс, попутно искорёжив и мужскую природу. Мужской «Отеческий» полюс, на-

правляющий, ведущий, организующий и структурирующий женское начало — материю («Мать») — и взращивающий своим примером молодое начало мужское — столь же незаменим. А когда нелёгкие дороги жизни вынуждают женщин или мужчин — пусть с чистым сердцем — ради выживания — своих детей, своего народа, своей родины, заполнять собой зияющие «прорехи духа» (Ю. П. Кузнецов), их ноша при этом вдвойне тяжела, а силы тратятся вдвое быстрее.

«На войне отца убила пуля...» (Н. М. Рубцов)

Они все росли без родных отцов — Валентин Распутин, Василий Шукшин, Юрий Казаков, Николай Рубцов, Василий Белов, Виктор Астафьев (можно продолжать длинный ряд русских прозаиков и поэтов — здесь окажутся и Юрий Кузнецов, и Александр Вампилов, и Леонид Бородин и множество других). Пули — реальные и образные (вымышленные, как в случае с Николаем Рубцовым, отец которого был на самом деле жив), метафорические и налитые нешутейным свинцом, начиная с XIX века, с Пушкина и Лермонтова, безжалостно, смертоносно впивались в тело отечественной литературы, убивая отцов, перекладывая тяжкий груз семьи, груз, предназначенный для двоих, на хрупкие женские плечи матерей.

Эту тяжесть русских литературных символических берёз (на растопку печи — домашнего очага, чтобы приготовить ужин), которые тащили на себе вдвоём по русской дороге, выбиваясь из сил, сын Ванька и его мать в рассказе Василия Шукшина «Далёкие зимние вечера», довелось пережить почти всем представителям «деревенской» прозы.

На те же неумолимые деревяшки, только уже под водой, когда-то накрутились волосы матери Виктора Астафьева, возвращавшейся водным путём со свидания с репрессированным отцом писателя и утонувшей, когда перевернулась лодка.

Становится очевидным, что неслучайна у названных и неназванных «сельских жителей» литературы эта близость к матери, раннее сострадание к её тяжкой доле, стремление уже в юном возрасте проявить свою мужскую суть, чтобы облегчить женскую долю. И неслучайно же своими творческими ориентирами Валентин Распутин называл, в первую очередь, таких тонких знатоков женской души как И. А. Бунин и Ф. М. До-

стоевский.

Образ матери, образ «женщины спасающей», женщины-подвижницы, женщины-созидательницы, хранительницы, сумевшей удержаться в своём горном полёте, проходит через всё творчество Валентина Распутина (особенно показательны образы старухи Анны из повести «Последний срок», образы Лидии Михайловны из «Уроков французского» и др.). Встречаем подобных героинь как неизменно высокий идеал и в творчестве Юрия Казакова («Поморка» и др.), Вацлава Михальского («Баллада о старом оружии», «Шуба», «Весна в Карфагене» и др.), в рассказах, повестях и романах Василия Шукшина, в пьесах Александра Вампилова, в рассказах, повестях, романах Леонида Бородина, Владимира Личутина и др.

Хотелось бы упомянуть несколько фактов, которые подчеркнут, насколько лично и близко в судьбу писателя проросла «женская тема», осознанная в череде страданий и попытке взрастить, направить «женскую линию» в нашем обществе, которое, как неразумный телок, бредёт в направлении «унисекс» и к прочим душевно-духовным вывихам.

Один из таких говорящих фактов состоит в том, что именно Валентин Распутин выступил одним из инициаторов открытия Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Иркутске, которая, распахнув свои двери для первых гимназисток 21 сентября 2006 г., существует и по сегодняшний день. Сколько детских душ вырастает в атмосфере любви, целомудрия и милосердия! Каждый ли город может похвастаться таким учебным заведением?

Напомним ещё о том, что в этом же 2006 г., немногим ранее, в июльской авиакатастрофе погибла любимая дочь писателя, Мария, талантливый музыкант-органист.

А через шесть лет, в 2012 г. из жизни ушла жена писателя — Светлана, имя которой, несущее свет, он подарил младшей героине повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003).

Ещё ранее, в 1996 г., умерла мать писателя, Нина Ивановна Распутина, вырастившая Валентина Григорьевича.

С уверенностью можно провидеть, что потеряв самых близких и дорогих женщин, писатель, на собствен-

ном трагическом опыте до самой глубины прожил эту боль-испытание — утрату женского «ядра» внутри собственной семьи — и до своей смерти пронёс этот груз утрат.

«Женский разговор» по душам

Ещё одним таким фактом, который мы приберегли для более детального разбора, можно считать написание Валентином Распутиным в 1994 г. небольшого, а можно даже сказать, короткого как песня, рассказа «Женский разговор», объединившего под общим женским началом мудрую старушку Наталью, в которой, по бытовым меркам, уже с трудом можно разглядеть женщину, и почти ребёнка — набеодокурившую молоденькую девушку Вику, женское начало которой ещё не сформировано, но уже деформировано.

Этот удивительный разговор, в котором участвуют «старый» и «малый» — два человека с женской натурой, не зависящей от возрастов, «тысячелетий» и «дворов», позволяет раскрыться и зазвучать струнам единой нежной вселенской души.

Художественное же пространство рассказа вполне конкретно — деревня: «высылка» для Вики и родное место, где жили ещё родители, для старушки Натальи. Время — бессонный вечер, переходящий в ночь — ночь над русской землёй — как будто подготавливающий место для последней беседы о потаённом. Писатель любит напоминать нам о сроках — «заточение в деревне» перевалило за второй месяц, проведённый без «проказливого» телевизора, без подруг и друзей, практически без «лампочки Ильича» (Валентин Распутин подчёркивает старания строителей коммунизма по электрификации всей страны и затоплению ради этого одних деревень, чтобы в итоге бездумно оставить без света другие).

Единственные безмолвные свидетели женского разговора — представители мира природы: котёнок и месяц. Шустрый зверёк, как и Вика, только растит своё зрелое естество и кошачью грацию, но, в отличие от неё, уже как будто понимает истинный порядок вещей, участвуя в разговоре своими говорящими действиями. Месяц же смотрит в окно неподвижно, но значительно — как будто знает что-то особенное о женщине, ведь именно он организует ритмы её бытия. Месяц растёт вместе с душой Вики, превращаясь в Луну — таинственное небесное телом, символизирующее женское

начало.

У «победоносной» Виктории, «рослой, налитой», отстаивающей для женщины роль лидера, по слову писателя, и «умишко детский», и «голова отстаёт». Молодая собеседница не всегда слышит и понимает свою бабушку, точно так же, как поглощённый земными радостями, захваченный будущей рыбалкой, герой рассказа Юрия Казакова «Вон бежит собака!» «не слышал» свою соседку в тёмном автобусе. Но мы уверены, что любая встреча оставляет свой след — в виде позднего осознания ли, как у героя Юрия Казакова, либо же в незаметном возвращении крохотного семечка истины в душе Вики, как в рассказе Валентина Распутина. Остаётся верить в пробуждение если не «умишка», то сердца героини и надеяться на живые бабушкины слова, которые не пропадут втуне.

Некоторыми своими качествами «затаённая девка» Вика («вялая, то ли с ленцой, то ли с холодной») напоминает нам ещё одну Наталью — уже не бабушку, а несчастную героиню «Тихого Дона», тоже не познавшую силу настоящей взаимной любви. Её законный муж, Григорий Мелехов, прямо называет причину этого: «дюже леденистая ты», «чужая», «как этот месяц: не холодишь и не греешь».

Автор оставляет нам надежду на исцеление героини, и символически прочитывается она в описании глаз Вики: «распахнутые», «серые», «смотрят подолгу и без прищура». В этом зеркале души видим мы светлую душу, открытую миру, пусть и не осознающую себя, но честную, без камня за пазухой.

И вот, как может догадаться читатель, наверняка в последний вечер пребывания в деревне у бабушки, девочке доводится услышать не только о том, что надо в жизни «устою взять», что «баба своей бабьей породы должна быть», «искриночкой», «звёздочкой», «Божьим сосудом» для мужа, но и о том, как следует ставить своего мужа «на подобающее место», относиться к нему как к «родному» и «суженому». А самое главное, узнаёт она удивительную историю любви — любви из прошлого, любви, как «звёздный натёк» из ночного сияющего неба в окне деревенской избушки, любви, вышедший из самых недр народной жизни, из красивейшей песни-завещания об умирающем в степи ямщике, сюжет которой (так нам кажется — подтвердите ли, Валентин

Григорьевич?), отчётливо просматривается в истории бабушки и дедушки:

«...Пусть о мне она
Не печалится;
С тем, кто по сердцу,
Обвенчается!» (Иван Суриков)

Умиравший дед Вики не только завещал своей жене «не печалиться», и «обвенчаться» с другим, но и сам подобрал суженого — такого, который действительно пришёлся «по сердцу» и стал «своим». И показалось тогда бабушке Наталье, с высоты памяти охватывающей взглядом даль минувшего: «...не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. (...) Когда он прикасался ко мне... струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет».

В «женской теме» рассказа Валентина Распутина «Женский разговор» видится нам «вечное возвращение», столь характерное для русской классики, и желание писателя вернуть нам Женщину, а самой женщине — саму себя, такую, которая была бы, по слову бабушки Натальи, «не сильнее, а любее».

Нобелевское «нелауреатство»

В 2010 г. Валентин Распутин мог получить Нобелевскую премию — его произведения были отправлены в Шведскую академию языка и литературы, но шведский комитет не проявил заинтересованности.

Тут, конечно, не виноваты ни Герта Мюллер (Германия), ни Марио Варгас Льюса (Перу), ни Тумас Транстрёммер (Швеция), ставшие лауреатами «престижной награды мирового уровня» в 2009–2011 гг. соответственно. Но, бесспорно, что для русского читателя имя Валентина Распутина несравнимо дороже названного триумвирата, как нельзя поспорить и с мнением В. В. Кожина, выраженного в статье «Нобелевский миф». Говоря кратко: никогда и ни один крупнейший представитель национальной культуры не был Нобелевским лауреатом.

Критик метко и справедливо высказался по этому поводу: «...Тот факт, что Толстой, Чехов, Пришвин, Иннокентий Анненский, Василий Розанов, Александр Блок, Вячеслав Иванов, Сергей Есенин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов и другие их современники не были удостоены премий, должен тревожить вовсе не русских людей, а шведов, ибо их академия продемон-

стрировала тем самым свое убожество».

К тому же, отдаём себе отчёт, для подобного лауреатства Валентин Распутин был слишком «конъюнктурен»: недостаточно остро вошёл в конфронтацию с государственной властью (был лауреатом двух Государственных премий СССР, Государственной премии России, Премии Правительства РФ), маловато наскандалил, не был масоном, не защищал права меньшинств (скажем больше: чуть позже он даже «запротоколировал» своё к ним отношение, подписав в 2012 г. заявление в поддержку уголовного преследования панк-феминистской группы «Pussy Riot», отстаивавшей, по собственным словам участниц, феминизм, экологию, права для ЛГБТ-движения и право «убивать всех, кто придерживается традиционных взглядов на мужскую и женскую роль»), произведения свои создавал в традиционном ключе, когда-то выступившим «золотым ключиком», примерно сто лет назад закрывшим ларчик Нобелевской награды Льву Николаевичу — дабы, по словам В. В. Кожина, «оградить от воздействия опасного русского варварства европейскую цивилизацию».

«...Едва ли имеются основания пользоваться нобелевскими “показателями” при обсуждении достоинств писателей, не говоря уже о литературах тех или иных стран в целом. (...) И ее “всемирная авторитетность” — не более чем пропагандистский миф», — снова процитируем критика.

В связи с вышесказанным будем считать «неполучение» Валентином Распутиным Нобелевской премии в какой-то мере отрядным и благим знаком.

Спрошу только: приняли бы Вы эту награду, Валентин Григорьевич?

А может быть, ответ шведскому комитету был бы похож на слова Толстого, известные по его письму финскому писателю Арвиду Ярнефельту. Тогда, безудержно выдвигаемый на премию шесть лет подряд, с 1901 г., в 1906 г. Лев Николаевич, отнюдь не стремившийся к мировой славе и обременительному «денежному злу», обратился с просьбой к заграничному другу: «Прошу Вас сделать, что Вы можете, к тому, чтобы они не назначали мне премии и не ставили меня в очень неприятное положение — отказываться от неё».

Поговаривают, что в первые годы установления «нобелевки» Лев Толстой был менее галантен и, не-

поддельно удивляясь тому, что изобретатель пороха завещал выдавать литературные премии за пропаганду «установления всеобщего мира», сказал, что ничего подобного ему не нужно, и он, пожалуй, мог бы и сам чем-нибудь их наградить.

И вот, в том же 2010 г., когда «лёгким манием руки» рукописи Валентина Распутина шведы отправили в корзину, произошёл ещё один случай, тоже с нашим гениальным соотечественником — математиком Григорием Перельманом, «повесившим чайник» заморским мудрецам. Напомним, что за доказательство гипотезы Пуанкаре (и более общей — гипотезы Тёрстона) он был удостоен высочайшей математической награды — международной «Медали Филдса», которую приравнивают к «нобелевке», а она, как известно, в области математики не присуждается. Но от Премии тысячелетия в миллион долларов математик отказался и в Мадрид на церемонию вручения награды не приехал, обосновывая это тем, что ему не нужны награды и деньги, и более того, не нравятся вынесенные комиссией необоснованные решения.

Великие рифмы жизни

В нашей русской литературе всё так тесно связано, так перекликается великими «рифмами судеб», «рифмами жизни» и «рифмами вечных смыслов», что, кажется, давно ушедшие писатели продолжают жить рядом с нами, как наши самые близкие друзья, а подаренные ими «огненные письма», небесные сюжеты, необходимые ответы и чудесные прозрения, запечатленные в слове, нигде не исчезают. «Большое время» поглощает десятилетия, столетия, «тысячелетия» и всевозможные «дворы», всё объединяя общей территорией вечности — где в одном бесконечном миге сосуществуют прошлое, настоящее и будущее. Категории материального мира и казавшиеся незыблемыми физические законы растворяются в чистом высокоградусном эликсире бытия духовного, подаренного нам классиками и всё ещё не расплесканного некоторыми из современников. Здесь нет «людей прошлого», нет «леденистого» отчуждающего беспамятства, нет сгоревших рукописей, нет забытых слов истины — это мир вечного памятования, несокрушимый никакими внешними катаклизмами и всегда всё расставляющий по своим местам. А тот, кто черпает там своё вдохновение, становится «человеком

будущего».

Песня Ивана Сурикова про ямщика позже неоднократно переделывалась народом. В веке XX, в котором большую часть своего бытия провел Валентин Распутин, ходило множество вариантов текста: в каких-то из них ямщик то «замерзал», то снова «умирал», как у автора песни; в каких-то фигурировала уже не суриковская «голосящая вьюгой» и стонущая в романтическом параллелизме вместе с ямщиком моздокская степь северного Ставрополя («Про моздокскую / Степь ямщик поёт...»), а степь безымянная-вездесущая, прославленная русская литературная степь — неизменно женского рода, как та самая единая женская душа:

Замолчал ямщик,
Слеза катится...
А в степи глухой
Вьюга плачется.

Голосит она,
В степи стон стоит,
Та же песня в ней
Ямщика звучит...

Вариант исполнения песни Лидией Руслановой, подытоживая анонимные «списки» и с показательной теплотой и нежностью превращая лаконичных суриковских «коней вороных» («Вороных коней / Отведи домой») — в «лошадушек» («Ты лошадушек / Сведи к бабушке, / Передай поклон Родной матушке»), венчает песню удивительными строчками, парадоксально сохранившими то, чего в исходном тексте на самом деле не было, но что «наросло само», потому что всегда жило и будет жить в народном духе — ведь так и есть любее:

Про меня скажи, что я в степи замёрз
И любовь её я с собой унёс.

К этому в своём рассказе «Женский разговор» нас и попытался вернуть на мгновение пусть и не оценённый «престижной наградой мирового уровня», но бесспорный «человек будущего» — Валентин Распутин, напоминая о безусловной, незамерзающей и неумирающей Любви-Вечности — между Мужчиной и Женщиной.



ДАРЬЯ ЗАЙКА

Родилась в 1998 году
в Тимашевске. Маги-
странтка 1-го курса фа-
культета журналистики
КубГУ. Публиковалась
в «Родной Кубани».
Живет в Краснодаре.

ДЕРЕВНЯ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА: СРЕДОТОЧИЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Когда разговор заходит о Валентине Григорьевиче Распутине, вспоминаются строчки В. А. Жуковского из «Воспоминания» (1827): «Не говори с тоской: их нет, // Но с благодарностию: были». Великий человек, талантливый писатель и признанный публицист оставил после себя обширное наследие, с которым потомкам предстоит заново познакомиться, разобраться в нём. Этот человек со знанием врача видел, чем больно наше общество, и чуткими руками хирурга предлагал пути решения для таких застаревших проблем, как отказ от русского наследия, от православного духовного начала, преклонение перед ложными ценностями, превалирование «городского», космополитичного начала над национальным «деревенским». Атомизацию и глобализацию в обществе, безразличие человека к человеку, захламление русского языка и помутнение национального сознания, оскотинение отечественной истории и народной мысли Валентин Григорьевич считал настоящей русской трагедией.

«Герой нашего времени — тот, кто не поддался на весь этот срам, который живёт с совестью, не оторвал её от себя, живёт традициями своего народа, помнит свой родной язык», — заявлял писатель в интервью для документального фильма «Душа хранит» [1]. В современной культуре действительно не хватает таких простых, совестливых людей, хранителей ценностей народа.

Но вот беда: деревня — умирает. А русская деревня — и подавно.

Давайте посмотрим на сухие цифры. Перепись населения, проведённая в России десять лет назад, показала, что только 26 % наших граждан живёт в сельской местности. Всего деревень осталось 134 тысячи, что на 8,5 тысяч меньше по сравнению с предыдущей переписью [4]. Павел Малков, глава

«Росстата», обещал опубликовать более актуальные данные в апреле этого года, но нет оснований сомневаться, что количество сельского населения сократилось ещё сильнее. Причины известны: урбанизация, недостойные зарплаты и, как следствие, низкий уровень жизни, погоня за бесплотными мечтами об успехе и бесплодный авантюризм в поисках денег...

Мы не зря начали со статистики 2010 года. Годом ранее Валентин Григорьевич давал интервью «Литературной газете» с красноречивым названием «Деревня сегодня почему-то всем мешает» [5]. В этом коротком материале отразились мысли, которые писатель пронес сквозь годы, с тех пор как «деревенская проза» ушла в народ, растворилась в нём и исчезла практически без следа: «...в сравнении с деревней, где сама природа заставляет человека быть нравственным, город проигрывает. Это, конечно, не значит, что в деревне все люди — нравственные, все духовно благополучные. Вовсе нет. Много людей искалеченных совершенно. Но ведь искалеченных только потому, что их оторвали от земли».

Вернёмся к статистике. Если посмотреть на проблему превалирования города над деревней (созерцания над созиданием) в разрезе разгорающейся пандемии, можно найти две, на первый взгляд, противоречащие друг другу тенденции. Одни эксперты утверждают, что коронавирус развивает деревню, другие — ускоряет процесс её разложения. Первая позиция активно продвигалась в начале пандемии: например, «Ведомости» выпустили статью с заголовком «Вирус гонит россиян в деревню». Подзаголовок должен нас «утешать»: «Это может стать долгосрочным трендом» [2]. Обратите внимание на подбор слов: «гонит», «тренд»... для людей умственного труда вся эта «удалёнка» превратилась

в «дауншифтинг» — когда человек отказывается от общественного блага в угоду собственному. Они приезжают в деревню из эгоцентричных, корыстных во всех смыслах побуждений, совершенно не заботясь о том, как эту самую деревню понять, поднять и обустроить. Пандемия закончится — и они закончатся: сядут на чемоданы и начнут на прежнем месте рассказывать, как хорошо «поработали».

В таких материалах речь идёт об узкой прослойке людей, обладающих высокой мобильностью — без детей, без квартир, без ипотеки... Много ли таких в нашей стране? Да и речь в материале не столько о деревне, сколько о городских агломерациях и их развитии. То есть мы просто продолжаем размышлять над проблемами урбанизации, но несколько иначе. Настоящая деревня исключена из дискурса.

Иноагент «Медиазона» в том же году отличилась не менее провокационным заголовком: «Страшнее только деревни. Как справляются с коронавирусом за чертой города» [3]. Корреспонденты вытащили всё самое страшное, что случилось с нами на момент начала пандемии: «закрытые на карантин посёлки» у них превратились едва ли не в концлагеря (хотя, справедливости ради, карантинные меры описаны в полном объёме — и они очень строгие, как того требовала ситуация). Но почему же эти «закрытые» карантинные зоны — «страшнее деревни»? Вопрос риторический.

Есть мнение, что молодёжь и интеллигенция, не знающие честного ручного труда, видят в деревне злое прошлое, а в городах — исключительно светлое будущее: это подтверждает и количество романов в жанре, прости, Господи, *young adult* (для двадцатипятилетних «подростков») о разочаровании в любви и потере смысла жизни после того, как разбиваются эти розовые очки по приезду в «Мекку» современного человека — то есть в плотно населённый клочок земли, большой город.

О такой низкопробной, переходящей, легкодоступной среднему читателю литературе Распутин размышлял на X съезде Союза писателей, но всё же заключил: «Повторю: народ наш спасался во все времена исконными путями. <...> Вот там, в родном, и надо искать читателя. Оттуда он и придет.

Не заманивать его, не заискивать, не повышать голоса, а выдохнуть из души, как “мама”, чистейшее слово, и так выдохнуть, чтобы высеклись сладкие слезы и запело сердце. Мы умеем это делать. И мы обязаны это сделать» [7].

Меж тем, люди, читавшие произведения Валентина Григорьевича, и писатели «старой школы» знают, что деревня — это не средоточие всего, что стоит «сбросить с корабля современности» (такое мы проходили), а, напротив, средоточие русской культуры, кузница русского характера. Пусть сейчас она и страдает болезнью «города», но, слава Богу, не до конца, и шанс на спасение ещё есть.

Значит ли это, что о деревне писать не надо? Или то, что уже написано, удовлетворит интерес пытливого ума и успокоит пылкое сердце? Отнюдь нет. Напротив, деревню надо открывать, причём открывать заново. Начинать, конечно, нужно с Валентина Распутина.

Всё-таки как счастливы в своей правоте, избавленной от вышеуказанных «городских» заблуждений, те, кто с детства знаком с творчеством Валентина Распутина (отметим, что он, в отличие от многих других достойных писателей, например, В. Белова и В. Лихоносова, включён в школьную программу)! Среди обилия поднятых классиком вопросов и тем проблема деревни, «отношений» человека с природой, родной почвой и Богом стоят как нельзя остро.

Напомним, что детство Василия Григорьевича прошло на лоне реки Ангары, сначала в селении Усть-Уда, затем в деревне Аталанке. Вся жизнь классика связана с борьбой за деревню, её экологическую и нравственную чистоту. Не всякий писатель так часто бывал в родных краях, как Распутин, и, тем более, не всякий отдал столько сил, чтобы если не предотвратить, то замедлить приближающийся упадок сельской родины.

Воспоминания об этих местах остались навсегда в его творчестве: Распутин подарил нам плеяду образов близких его сердцу людей и слепок их быта, самого по себе не противоречившего природе вещей, какой её задумал Господь.

Ещё одна причина, почему в писательский объём

ектив попадает чаще деревня, а не город, кроется в отношении Валентина Григорьевича к городу как феномену: «Город всегда был ближе к тому, чтобы подвергнуть человека всяческим искушениям, чтобы человек перестал быть настоящим. Да, проблемы везде одни, но атмосфера в городе более соблазнительная и более болезненная. Тут даже и уличная обстановка развращает: бесстыдная реклама, до которой почему-то ответственным людям нет дела, так называемые культурные заведения, старые и новые, от которых несёт неприятным духом...» [5]

В небольшом комментарии для «Московского комсомольца», опубликованном посмертно, так же ощутимо писательское понимание противопоставленности больших и малых городов: «Сегодня другие взаимоотношения между людьми. Равнодушие стало больше. Каждый думает только о себе, особенно в Москве это очевидно. В Иркутске в меньшей степени такие вещи проявляются. Жизнь не становится лучше» [6]. Но даже в тот момент классик подчёркивает, что «надежда остаётся», и мы охотно ему верим — ведь его произведения всё ещё с нами.

Писатель не меняет своего мнения даже спустя годы — вспомним слова, высказанные в документальном сериале «Душа хранит»: «Там, где надежда убывает в одном месте, она потом пребывает в других случаях. <...> Если мы что-то делаем для родины своей, ... для той России, которую как бы провозжаем уже, ... когда мы возвращаем её, то силы прибывают» [1].

В чём же секрет произведений Распутина? Почему мы можем быть уверены, что они найдут отклик у представителей подрастающего поколения? Секрет, как всегда, в личности писателя: Валентин Григорьевич — человек, любящий саму душу человеческую, и принимающий её во всём многообразии; однако любовь эта сочетается с сильной волей. Наряду с нежностью, которую он испытывал к своим героям, молодым и пожилым, сельским и городским — в каждой его работе прослеживается чёткая позиция, нравственный маяк, освещающий только самое важное, русское.

Впору вспомнить цитату из «Прощания с Матёрой»: «Народ, он, конечно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежели не уродилась вместе с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богатства. С его последнюю рубаху сьмают, а он ее скинет, да ишо спасибо скажет, что раздели». «Прощание с Матёрой», написанное в 1976 году, звучит так же актуально, как сегодня; может даже ещё пронзительнее для души и острее для ума. Всё-таки оно обо всём, что болит — о том, что человек счастлив только в единении со своей Родиной и как страдает, когда в его национальный мир вторгаются захватчики. У них много имён. Одно из которых — «прогресс»: при всей его необратимости современный житель, требующий всех благ прямо здесь и сейчас, даже не пытается его сдержать, разрешая ему сметать всё живое и живущее на своём пути. Приказ о том, что Матёра должна пасть жертвой жестокого прогресса исходит «сверху», но отнюдь не от Бога, и поэтому её жители отчаянно сопротивляются, как могут, по-своему прощаясь со своей Родиной.

Матёра в рассказе — не просто деревня, оторванная от мира, в котором семимильными шагами разрушается естественная связь внутреннего мира человека с внешним; Матёра — это «мать», она и есть вся Россия. Напомним, что именно с этой аллегории начинается повесть: «И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромодив на берега торосы, и Ангара освобождённо открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь»; «Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать».

Дарья — русская женщина, крестьянка, потратившая многие годы на «сопротивление» разного рода «специалистам», защищает не только свой дом — старую избу — но и всю деревню, землю, на которой жили её предки. Вот первое описание Да-

рьи, данное Распутиным: «Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству». Мы узнаём, что её сын с невесткой заезжают «раз в неделю, а то и реже», поэтому всё хозяйство лежит на одной только женщине: «Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама». Молодое поколение, «сбежавшее» из деревни, помогает пожилой матери не из чувства малой Родины, а скорее из личной привязанности, в то время как местные всегда готовы оказать друг другу помощь. Такая ситуация и сейчас не редкость в современных деревнях, посёлках и, как принято в наших краях, хуторах — пусть и в меньшей степени, чем в описанные Валентином Григорьевичем времена.

Так жители воспринимают не только свою Матёру, как целый мир, но и друг друга — как не чужих людей. А действительно чужими людьми воспринимаются разного рода «специалисты», интервенты чуждых ценностей, пришедшие «с материка» со своими установками; вспомним, что первое появление «чужих» в мире Матёры происходит на кладбище. Местные называют их: «чужие, черти». А Дарья командует: «Побежали, девки».

Итог противостояния деревни и прогресса нам ясен с самого начала — вспомните приведённое вступление, — и от того больше наблюдать за развитием конфликта и его решением. Печальный финал повести подчёркивает, что прогресс остановить невозможно. Можно только изменить своё отношение к нему на пассивно-безразличное или же бороться до конца. Жители Матёры понимали, что человек, оторвавшийся от своих корней, разрушает фундамент своей цивилизации, не может противиться вторжению на свою Родину кощунственных, губительных идей. Герои Распутина достойно, как могли в своей немощи, ответили на такое «вторжение»:

«У Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло

и бесформенно шевелилось — будто проплывало мимо.

— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина.

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет.

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако, что, неживые.

— Ну и ладно. Вместе — оно и ладно. Че ишо на-до-то?»

Отметим особенный язык, которым пишет Распутин — как богат словарный запас его героев! Вернёмся к фильму «Душа хранит» и послушаем самого Валентина Григорьевича: в тяжёлые моменты он читает и Пушкина, и Бунина, и Есенина, и Шмелёва, и даже Даля. Как писатель он чувствует почти незримую для большинства связь реальности со словом, формирующим культурные ценности и сознание. В этом — великая заслуга русских словарей: «Я окунаюсь в этот русский язык, народный русский язык, который сейчас, конечно, захламляется, и глубины которого мы, как полезное ископаемое, часто оставляем нетронутыми, потому что появилась потребность в какой-то другой “продукции”, в том числе “языковой продукции” — но когда углубляешься туда, это великое благо и великая надежда: силы прибывают, и все прибывает, и писать хочется». И этот язык, запечатлённый на страницах вековой давности Далем, ещё отражает наши ценности, поддерживает связь из глубины веков до тех, давно минувших дней — ведь сейчас мы живём в мире постмодерна и, как правильно отметил писатель, «захламляем» прошлое, превращая его в условное, созданное из нагромождения симулякров.

«Наша литература — выпевание народной жизни, народных надежд. И вот когда коснёшься всего этого — и настроение как-то лучше, и слова-то появляются» — подытоживает писатель. Русское слово, передающееся из поколения в поколение на бумаге, противостоит информационному шуму и технократическому миру, в котором рождаются пресловутые химеры и стеклянные чудовища со-

временной культуры. Используя этот народный язык писатель чётко определяет, какой он — русский человек. Таких героев у Валентина Григорьевича много: даже уехавшие в город не всегда вспоминают родные деревни, разбросанные у Ангары, но мы, читатели, проникаемся их духом и знаем, что где-то они существуют, и живы ещё в них лучшие проявления народной души...

Десять лет назад на финальный вопрос интервью корреспондента «Литературной газеты» кому же в первую очередь нужна помощь, Валентин Григорьевич честно и прямо отвечает: крестьянину. «Без родной деревни-кормилицы нам никак нельзя. И, кажется, было достаточно времени, чтобы в этом убедиться», утверждает писатель. И ведь он прав! Но сегодня, когда спасение крестьянина должно заключаться в избавлении его от засилья чуждой культуры и нищеты, русская деревня — не столько поселение, сколько идея, средоточие всего, что дорого истинно русскому сердцу. Стремительная урбанизация и глобализация стирают с

лица нашей земли «материальную» деревню, но она живёт и будет жить в тех ценностях, что несёт в себе наша культура.

Валентин Распутин покинул нас в 2015 году, но его идеи будут жить столько, сколько человечество будет читать: особая способность писателя чувствовать жизнь, пронзительный взгляд в будущее, рациональный пессимизм в настоящем и умеренная критика прошлого выделяют его из ряда современных «творцов слова». Живя на сломе эпох, видел он — как писатель и просто русский человек — что «слишком велика Россия, слишком мудра Россия, слишком чувственна Россия, слишком хороша была Россия» [1]. Трезвость ума Валентина Григорьевича, и его образ «идейной» деревни не ушёл, не развеялся, сегодня он живет, вдохновляя нас и напоминая нам о важности связи человека с землёй-кормилицей. Может, опомнится ещё городской человек, одумается, оглянётся... ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Валентин Распутин. «Душа Хранит» // YouTube. — URL: youtube.com/watch?v=gkjr9XPhpyM&t=364s.
2. Рубченко, М. Вирус гонит россиян в деревню // Ведомости. — URL: vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/13/834494-virus-gonit-rossiyan-v-derevnyu.
3. Константинова, А., Френкель, Д. Страшнее только деревни. Как справляются с коронавирусом за чертой города // Медиазона. — URL: zona.media/article/2020/04/16/goroda-eto.
4. Что выяснилось из переписи населения десять лет назад // РБК. — URL: <https://www.rbc.ru/society/16/10/2021/61693b1f9a79475f5c63da70>. <https://www.rbc.ru/society/16/10/2021/61693b1f9a79475f5c63da70>
5. Валентин Распутин: «Деревня сегодня почему-то всем мешает» // Столетие. — URL: stoletie.ru/obschestvo/valentin_rasputin_derevnya_segodnya_pochemu-to_vsem_meshaet_2009-03-04.htm.
6. Валентин Распутин: «Многое сегодня решают деньги. Но надежда остаётся» // МК.ru. — URL: <https://www.mk.ru/culture/2015/03/15/valentin-rasputin-mnogoe-segodnya-reshayut-dengi-no-nadezhda-ostaetsya.html>.
7. Валентин Распутин. «Мы не предали крепостей, на которых стоит Россия» // Хронос. — URL: <http://www.hrono.ru/statii/2001/rasputin01.html>.
8. Распутин, В. Прощание с Матёрой. — URL: <http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt>.



ОЛЬГА ТАТАРИНОВА

Родилась в 1986 году в станице Брюховецкой Краснодарского края. Окончила филологический факультет Кубанского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию по русской литературе. Преподаёт на факультете журналистики КубГУ.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Предметом изучения в данной статье является понимание В. Распутиным роли литературы и словесности в деле становления национального самосознания. Мы рассмотрим и очертим системно, что публицист отрицает, а какие ценности утверждает.

Валентин Распутин — боец. Резкий и бескомпромиссный. Только так и возможно, когда рушится нормальный человеческий мир твоей родной страны. Когда враги сжигают родную хату. Он не эстет, сидящий в башне из слоновой кости и воспевающий ценность искусства как такового, как отдельного вида человеческой деятельности. Его литература — это зона выхода из литературы в словесность, то есть не вымышленные миры, но учительное слово, призванное сообщить нечто важное о мире и человеке. Даже в художественной прозе он публицистичен и дидактичен, при всей тонкости и виртуозности построения текста. Мало кто сейчас говорит и пишет так. В его стиле, его мысли есть глубинная неиспорченность, чистота, исконность, что-то от родных просторов и богатырского причастия родной земли.

Очень ясные, прямые, простые для понимания, но оттого не теряющие глубины, и концентрации, и суровой тяжести мысли. Представление о литературе не как о виртуальном мире, призванном интеллектуально развлекать читателя, но как о высоком Служении, четко расставляющем ценностные акценты, учащем отделять дурное и доброе, чтобы читатели «не путались в добре и зле» [5, с. 50]. Мне показались крайне значимыми в наши дни мысли В. Распутина о роли художественной словесности. Здесь и идея «напитывания сердца», и особый патриотический национализм, восстающий против вражеского засилия чуждых русскому человеку идей потребительства. Русским имманентна, то есть вкоренена, внутренне присуща ориентированность на жизнь духа, жизнь высшего порядка, при всей проти-

воречивости, неустойчивости и склонении к низинам порой. «Отсюда, из духовного склонения Руси, и особая роль в ней литературы. Литература всегда была у нас больше, чем искусство» [5, с. 51]. Наша литература, по мысли Валентина Григорьевича, не вымышляется, а «снимается в неприкосновенности посвященными с лица народной судьбы» [5, с. 51]. У писателей XX века могли бы быть другие имена, но они не могли не появиться, не стать голосом народа. Русский писатель, учитель, да и вообще любой человек, считает Распутин, управляется сознанием высокого Мессианства нашего народа, о котором писал еще в XI веке митрополит Иларион в «Слове о законе и Благодати». И эту высокую призванность, бытийное предназначение необходимо воплощать всякому человеку, а тем более тому, к кому народ идет за ответами, как к пророку. И потому Россией управляет Достоевский, и все мы — братья Карамазовы. И наша литература — это духовная судьба нашего народа. И именно поэтому она, литература, должна быть глубоко национальной, и только потом и оттого всемирной. Современные ему появляющиеся новые произведения (1996 год) Валентин Григорьевич называет необязательными, измышленными, пошлыми; в них отсутствует волевая личность, а она, настоящая очень нужна. Не западный, америкоцентричный канон супермена-качка, «мясного бифштекса», но Герой, способный жизнь отдать за Россию.

Проблема национального в литературе очень масштабно разрабатывается Распутиным. Писатели должны «до конца служить той земле, на которой они были взращены» [5, с. 52]. В этом же контексте рассматривается им и тема образования и воспитания.

Прежде всего должно воплощаться просвещение, а не образование в значении увеличения знаний. Национальный человек должен питаться родной землей, ее историей, языком, традицией. Необходимо наполнять молодое поколение родным духом, давать «вместе с науками тепло отеческого наставления и отеческой

веры» [5, с. 102].

Очень ясно и незамутненно видит писатель задачи современного образования. Это не товар, не услуга, не то, что может быть красиво упаковано и выставлено на прилавок; но путь наполнения неокрепших душ своим, родным, глубинным, родниково-чистым, «чтобы вместе с физическим возрастанием без болезненных наростов шло возрастание духовное, т.е. заложить прежде всего в личность национальный камертон, а уж затем пускать в море знаний» [5, с. 102].

И здесь здоровый национализм Распутина сопрягается с почвенничеством. Школьное образование должно быть подобным материнскому молоку: питать родным и настоящим, через язык, литературу и связь с родной землей. И это поможет противостоять мраку и хаосу, пустоте, бессмысленности, безродности. Только нужно читать правильных авторов. Таких как А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, И. С. Шмелев.

Школа вообще, по мысли Валентина Григорьевича, - последняя надежда на наше национальное существование в мире. Но школа должна помочь вернуть Россию русским. А иначе получается, что мы тоскуем по России посреди России. Как это сделать, как вернуть утрачиваемую Родину? Через русский язык, отечественную словесность и отечественную историю: «когда бы оберечься этим триединством в их нераздельности, да еще и с молитвой, - встали бы мы на путь спасения» [5, с. 106].

Что Распутин отрицает в современном образовании? Вписанность школы в рыночную систему; «образованщину»; инновации, порождающие пустоту и оторванность от национальной традиции; процессы глобализма и унификации; тесты-угадайки; отход от фундаментального образования в сторону прикладного; хаос учебных программ.

Что Распутин утверждает? Необходимость возвращения к национальным традициям как к истинной новизне для нашего времени; сделать русские школы русскими в значении ориентированности на формирование православной материи души у учащихся через напитывание неповрежденным и святым языком истинной литературы, через чтение настоящей словесности, заучивание наизусть стихов и фрагментов прозы. «Если бы, как в чистилище, заглядывали мы почаще в книгу безупречной чистоты и восстанавливали свое дыхание и кровообращение, свое богоданное чутье на хорошее и плохое...» [5, с. 106]. Такое чтение сродни

молитве, потому что оно «вздымает душу». Речь не идет о лубочном ура-патриотизме, игре в традицию, обряжение образовательного процесса в костюмы древних славян. Валентин Григорьевич размышляет о почве, которая питает русское сознание. А это наша литература, которая есть больше, чем художественность — это «редчайшее постижение заложенной в наш народ тайны» [5, с. 107].

Как же к постижению этой тайны подводить учеников? Громкими речами, проектами, акциями, проповедями? Пропагандой патриотизма? Отнюдь. У В. Распутина есть очень хорошая аналогия с материнским молоком. В медицине известно: молоко - единственно возможная пища в первые полгода жизни, самая лучшая — в первые полтора, желательная — в первые три года. Так же и с русской традицией. Русская литература былинного, сказочного типа — единственно приемлемый вариант до определенного возраста ребенка, необходимый — еще до какого-то, предпочтительный — до такого-то. Национальная культура должна быть в начале жизни человека в максимальном объеме без пробелов. Это время импринтирования, запечатлевания. И именно в это начальное время жизни национальный дух и вбирается. Иначе получается как в случае с оставлением матерью ребенка: родила, оставила кому-то и уехала. Приехала через три года и говорит: «Это я, твоя родная мать (культура)». А ребенок отвечает: «Ничего не знаю, не было тебя, я уже привязался к покемонам. Конечно, может быть, я полюблю тебя через сколько-то лет, если останешься, но уверенности нет». То есть с патриотического воспитания надо начинать. Вряд ли оно может качественно ворваться в середине жизни. Родное, национальное — это основа, на которой позже вырастает широкая всемирность. А если сразу начинать со всемирности, то ничего кроме феномена Ивана, родства не помнящего, не выйдет. А сейчас большинство книг для малышей — это переведенные зарубежные авторы. И по содержанию, и по стилю графическому и визуальному — это чужая культура. Мало кто покупает сказки в иллюстрациях Билибина, исконно русского массмаркет не предлагает.

Поэтому прививать любовь к родной литературе надо с самого начала и именно через чтение, а не пропаганду в лоб. Пропаганда патриотизма нужна тогда, когда человек свернул на какую-то иную тропу. А если он с самого начала черпает ковшом из душевной глубины

родной словесности?.. Тогда ничего и выдумывать не нужно. Живешь себе и все. И конечно, уже невозможно напоить молоком подростков. Только чтение, заучивание больших фрагментов наизусть, даже прозы заучивание, чтобы прикасаться к «неслыханному счастью быть русским человеком», видеть в нашей литературе чудо, «волшебное прозрение души» [5, с. 107].

Огромна роль учителя в деле становления души ребенка. «Никогда еще так не нуждалась школа в грамотном учителе — грамотном не только в своем предмете, а прежде всего и свыше всего в науке отечественного обоняния и осязания, с которых начинается гражданство», — говорит В. Распутин в докладе на пленарном заседании XIV Международных Рождественских образовательных чтений в 2006 году. И здесь от учителя, как и от писателя, требуется высокое Служение, «служение тяжкое до самоотвержения и креста» [5, с. 107]. Никто, кроме нас самих, нашим детям не подарит спасения, чистого воздуха родной земли. Как в стихотворении А. Шигина: «А наши не придут. Все наши — это мы».

И здесь тема образования, высокого служения перекликается с темой земли, деревни. По мысли Валентина Григорьевича, русский человек всегда обрабатывал два поля: деревню с ее хлеботорбой землей и духовное пространство веры и родного языка. Вера испокон веков сопрягалась со страдными циклами, наша почва пропитана верой, плодоносит вместе с хлебом, питает нас, как «живая пуповина от матери родной земли». И от этого рождается особая чувствительность русского человека — от проникновения в природный мир (речи дождя и ветра, солнечных закатов и восходов, звездного неба). А отсюда уже зреет нравственная восприимчивость. То есть движение ко всемирности происходит путем концентрации на своем, родном изначально, потом постепенно круг своего расширяется, но база незыблема и тверда. От природы, родной земли «составляется наша особая мироощущительность, наша органичность, наша сыновность» [5, с. 109]. И потом эти просторы становятся самой тканью, подосновой художественных произведений. И потому деревенская проза не есть плач по умирающим деревням, но воплощение естественной духовности нашей словесности в принципе.

Очень нутряно пишет Валентин Григорьевич об одухотворенности деревни, где верой пропитана вся почва. «Вера плодоносила здесь вместе с хлебом и здо-

ровой консервативной жизнью» [5, с. 109]. Деревня у Распутина — сердце Русской идеи. В ней все естественно, природно, по-настоящему, твердо, не зыбко. «Сама земля возвращала детей свои на корне здоровом и бесшатком и закладывала в них силы и таланты, свойственные духовной плоти России» [5, с. 110].

Когда человек живет органической нутряной жизнью, его не надо учить патриотизму. Он опирается на твердый, могучий, невидимый клад, которого в родной земле с избытком. Но писатель предупреждает: этот клад мы теряем. Вместе с деревней утрачиваем и государство, которое строится по чужим лекалам. Очень важная распутинская мысль: необходимо быть на родной земле творцом, отцом и хозяином, а не гостем-вахтовиком, качающим нефть. И такие же процессы происходят в образовании: насаждение чужого, инородного, потребительского, «обесцеленного».

Валентин Распутин эпический человек. Темы и понятия, которые его занимают и с которыми он работает, — это народ, враг, битва, Бог. Религиозное и деревенское выступают платформой оценок. Истинный патриотизм рождается из чувства долга перед родной землей, а чувство Родины возникает от литературы. Это ключевые позиции дидактического послания писателя, крайне значимые сегодня.

Литература

1. Видимые и невидимые беды Байкала / В. Г. Распутин; предисл.: В. Ходий // Вост.-Сиб. правда: обществ.-полит. газ. Иркут. обл. — 2015. — № 11. — С. 3.
2. Поле битвы — сердца людей. / В. Распутин. Беседовал писатель Игорь Шумейко. // Наш современник. — 2012. - № 3. — С. 98-103.
3. Распутин В.Г. Видимое и невидимое. Два слова в пользу надежды. // Наш современник. — 2000. - № 2. — С. 186.
4. Слово писателя: [Выступление на Рождествен. чтениях и X Всемир. Рус. Народ. Соборе 2006 г.] / В. Г. Распутин // Сибирь: Журнал писателей России. — Иркутск : ОАО НПО «Облмашинформ», 2007. — № 1. — С. 101-111.
5. Что дальше, братья славяне? Мой манифест / В. Г. Распутин // Сибирь: Журнал писателей России. — 2007. — № 5. — С. 50-67.

СОВРЕМЕННОИКИ О ВАЛЕНТИНЕ РАСПУТИНЕ

Из интервью с Митрополитом
Иркутским и Ангарским Вадимом

ПЕВЕЦ СВЕТА

Памяти Валентина Распутина

Журналист: Владыка, Валентин Григорьевич крестился, как известно, в 1980 году в Ельце. К этому времени им уже были написаны все крупные произведения. И всё-таки, на Ваш взгляд, их можно назвать христианскими, православными?

Митрополит Вадим: Бесспорно, это духовные произведения. Не будучи крещёным, Валентин Григорьевич был духовно вооружён. В душе его, в сердце жил образ Единобожия, образ Творца. Вот этот образ Единого Бога, Творца и совесть, как некий закон Божий, заложенный в человеке, — всё это было присуще Валентину Григорьевичу и до крещения, и до последнего момента его жизни. Он был человеком совести, что можно сказать не о каждом. В нём была удивительная острота совести. Поведенческая его линия зиждилась на целостности, которая была у святых отцов, целостности, которая бывает у людей духоносных, потому и пронизаны его произведения и любовью к отчизне, и любовью к земле, любовью к своей культуре и духовности, любовью к своему народу, в каком бы состоянии он, народ, ни находился в силу различных внешних воздействий. Мы видим, как даже в некоторых отрицательных распутинских героях не

умирает любовь к людям. Можно сказать, что он был певцом любви, певцом света, певцом совести, просветления, которое необходимо, на мой взгляд, снискать каждому человеку, поскольку каждому из нас, однажды родившись, с чем-то нужно будет предстать перед Творцом.

Я поражался объёму мысли, объёму написанного Валентином Григорьевичем Распутиным. Некоторые считают, что перечень его произведений довольно малый, но это не так. Если мы вчитаемся в то, что было написано рукой Распутина, то непременно увидим, что областью проявления его таланта, проявления его заботы, его участия в жизни народа, в жизни страны является практически любая сторона жизни. И вместе с тем самая важная — область нравственная, область духовная, которая является базисом для всего прочего: для развития науки, экономики, общественных отношений. И в этой связи Валентин Григорьевич как раз соответствовал евангельскому завету: «Ищите прежде Царствие Божие и правды его, а все остальное приложится вам». Мне трудно говорить безапелляционно о каких-то вещах, но во всяком случае, из тех многочисленных часов общения с ним в разное время я вынес имен-

но такое восприятие. С ним было общаться всегда очень интересно. Валентин Распутин был много-словен, он не был человеком, сорящим словами, каждое сказанное им слово, равно как и написанное, носило и носит глубокий содержательный смысл. И вместе с тем оно, слово его, прекрасно в звучании своём, оно очень точно и во всём объёме отображает явление, что удаётся не многим логикам.

<...>

Мне вообще кажется, что литература может быть только духовной, если это настоящая литература. Она не может быть иной. То, что мы видим, слышим, читаем в произведениях Валентина Григорьевича, и есть духовное. Да, мне приходилось много читать. Я вообще любил читать, честно скажу. У меня не было возможности иметь такую библиотеку, где было бы по полочкам разложено, что за чем читать. Родители мои, к сожалению, не могли мне этого предложить в силу своей занятости. Я читал всё что угодно. «Иностранная литература» печатала зарубежных писателей. Мы выписывали тогда журнал «Роман-газета». Там были авторы всех республик, входящих в Советский Союз. Многое из прочитанного вызывало восхищение. Не могли, положим, не восторгаться произведения Шолохова, нравился мне Астафьев, Солоухин, но Валентин Григорьевич, его творчество всегда занимало для меня особое место. И особое место, быть может, потому, что я в своей жизни имел счастье, наверное, Божию милость общаться с людьми, которые были духовно богаты, духовно одарены, имели тонкую конституцию духовного порядка. Например, старец и мой духовный наставник архимандрит Серафим Тяпочкин. Это был высокообразованный человек, человек, прекрасно знающий классику. Жизнь его была сложна, многие десятилетия он провёл за колючей проволокой, только за одни лишь убеждения. Когда его освободили окончательно, то сказали: «А вы ни в чём и не виноваты». Услышать это, отсидев не один десяток лет, помыкавшись по различным лагерям и ссылкам, сами понимаете, непросто. Но вместе с суровым жизненным опытом отец Серафим стяжал некую просветлённость и, я бы сказал, любве-

обильное отношение к людям, альтруизм, но не в той форме — любить всё и вся, он каждого человека любил персонально, и мы это чувствовали. Нечто общее с отцом Серафимом я нашёл и в произведениях Валентина Григорьевича Распутина. У него очень тонкая организация души. При кажущемся отсутствии в произведении каких-то глобальных событий, он описывал тончайшие нюансы жизни человека, его души, его настроения. Это не может не поражать. Это сродни как раз духовности праведников, сродни духовности святых отцов, именно отцов, которые отслеживали не только слово, но и мысль, поползновение к мысли. Этим Валентин Григорьевич меня и привлекал. И я не случайно сказал об отце Серафиме, о просветлённости его. Я знаю, что он уже при жизни был святой, например, он мог знать имя незнакомого человека, который пришёл к нему, мог знать его нужды. Таких примеров можно привести очень много. Я бы сказал, что духовными дарованиями, которые даются человеку свыше, обладал и Валентин Григорьевич. Он настолько тонко чувствовал свет, чувствовал правду, настолько тонко чувствовал любовь и незамутнённость человеческой души, человеческого сердца, чистоту его, что это вызывает восхищение. Кто соприкоснулся с его творчеством, прекрасно понимают, что оно не сиюминутно, оно на века, оно для людей мыслящих, ищущих правды, ищущих Бога, ищущих вечности, ищущих света, ищущих счастья, ищущих справедливости и гармоничного существования общества здесь, на земле. Мне кажется, его произведения именно для таких людей. И не в смысле того, что его произведения только для людей с высоким айкью, высоколобых. Его произведения для всех: и для человека, который являет высокий интеллект, с высоким, я бы сказал, образовательным цензом, и для простого человека. Невольно напрашивается аналогия с Евангелием: Евангелие ведь и для философов, мудрецов, и для простых людей, — оно всем понятно. Что-то подобное есть и в творчестве Валентина Григорьевича Распутина. ■

*Полностью интервью читайте
на сайте «Родной Кубани» rkuban.ru*

ТИМУР ЗУЛЬФИКАРОВ

МАСТЕР

Истинного писателя нельзя купить — его можно только убить... Убить не только пулей, а замалчиванием... Можно при жизни засыпать его песком забвенья или накрыть гробовой плитой шоу-бизнеса...

Истинный писатель — это голос народа...

Это и есть сам народ...

Язык народа...

Без писателя — народ нем, бесследен...

Истинного писателя нельзя купить — его можно только убить...

Убить не только пулей, а замалчиванием...

Можно при жизни засыпать его песком забвенья или накрыть гробовой плитой шоу-бизнеса...

Распутина замалчивали, ему не давали эфира, его не пускали на ТВ...

К своему народу, как телёнка не пускают к молочной матери-корове...

Ему давали премии, но не давали говорить со своим народом...

Известно, что один писатель — стоит тысячи журналистов...

Журналист — это язык власти, а писатель — язык народа...

Пророк Мухаммад — да будет с Ним Милость Аллаха — говорил: Умри прежде смерти... Живи, как странник... как чужестранец...

Истинные писатели, художники, композиторы, крестьяне, рабочие, врачи, студенты стали чужими в чужой стране...

В 1917 году люди Культуры покинули страну, ушли в эмиграцию.

А нынче нас постигла внутренняя эмиграция — страна покинула свой народ.

Русские стали «россиянами».

Владимир Даль пишет: «Россияне — это инородцы, живущие в России».

Распутина умертвили еще при жизни... его посадили в Колодезь Одиночества...

Как всю нашу Истинную Русскую Культуру, которую покрыла какая-то смертельная, бездыханная, необъятная, вездесущая, удушающая плёнка...

И на тропинках, ведущих к этому Святому Колодезю, поставили всяких бесов от культуры с их мёртвыми душетленными книгами, песнями, театрами, фильмами, живописью...

Но вот Смерть — Великая Хранительница Истины — погнала бесов и открыла нам Хрустальный Колодезь Валентина Распутина с его родниковой водой Русской бездонной Души и Любви...

О Боже!.. У нас только Смерть-Плачя дарит Ордена Славы и Бессмертия!.. Воистину!..

Пусть вечно сияет! поит! питает Читателя распутинский алмазный Кладезь!..

Пусть его святые божественные деревенские старухи вечно улыбаются нам, как улыбалась Богородица Новорождённому Богоагнцу!..

P. S.

Я был знаком с Мастером. Однажды мы оказались за одним столом в переделкинском Доме Творчества.

Мастер сказал мне:

- Я читал Ваши поэмы... У Вас уникальная поэзия... И самая трудная судьба... Еще никто так не писал... не заставил русское слово так поворачиваться и излучать...

Я смутился и попытался неуклюже польстить ему:

- Да что Вы... У Вас тоже трудная... судьба...

Но он покачал головой...

Была осень. В номерах было сыро...

Я пожаловался на боль в костях...

Вечером кто-то постучал в мою дверь.

Я открыл — там стоял Распутин. В руках у него был тяжелый радиатор-батарея...

- Я-то сибиряк... А Вы — человек восточный... возьмите...

Он смущенно улыбался, словно извинялся, что потревожил меня...

Я до сих пор плачу, когда вспоминаю, как он виновато улыбался...

И еще: я спросил у Мастера:

- Я так люблю Ваши очерки о Сибири... почему не пишете новые... старость подошла?.. Трудно уже двигаться?..

Он сказал:

- Не на что... денег нет на путешествия...

- А как же сибирские бизнесмены...

- Я не с ними...

И тут я вздрогнул, вдруг увидев его китайскую лёг-

кую сквозистую курточку среди заиндевевшей осени...

И ещё: одна переделкинская дама пригласила нас в гости — на пельмени...

Распутин согласился: еда в столовой была тоскливой, а тут — домашние пельмени!..

Мы собрались, и тут дама обронила неосторожно: -Вначале поплаваем в моём бассейне, а потом — пельмешки!..

Тут Распутин шепнул удивлённо:

- Бассейн?.. Так Вы богатенькая?..

Не пошли мы на пельмени... а так хотелось...

Долго, долго, мучительно извинялись перед хлебосольной женщиной...

Думаю доныне, что тут Мастер поступил жестоко...

Ведь он, как никто, любил и жалел людей... ■

Источник: zavtra.ru

■ ГАЛИНА МИНЕЕВА (журналист, г. Омск)

ГОЛОСА НА ДОРОГЕ

*Беседа с омским литератором Г. Г. Минеевой
о последней встрече с В. Г. Распутиным*

— Галина Георгиевна, вы были близко знакомы с Валентином Распутиным. Расскажите пожалуйста как и где вы познакомились.

— Я часто задаю себе вопрос: почему Валентин Григорьевич отыскал меня через много-много лет, почему душа его вдруг зазвала меня в свое сокровенное, хоть и ненадолго, через сорок с лишним лет? Об этом не спросишь у него, да и спроси тогда, он ничего не сказал бы в ответ, а только улыбнулся вопросу, склонив слегка голову.

Наши короткие отношения я не назвала бы громко — «близко знакомы», просто на последний отрезок его пути по жизни нет-нет, да соскальзывала моя ступня, вроде бы случайно.

В эти годы наших никаких отношений вместились блестящее воплощение его прекрасного таланта, лаконичного и глубокого, как и он сам.

Я расскажу о первой встрече с Валентином Григорьевичем, тогда — автором прекрасной повести «Деньги для Марии». Это произошло в Иркутске,

где училась в университете, мы его коротко называли — ИГУ. Училась в группе журналистов филфака. Однажды, когда мы гуляли по Иркутску, Александр Валентинович Вампилов говорит мне: «Слушай, Галка, давай, зайдем к Вальке Распутину, я тебя с ним познакомлю, хочешь?». А как было не хотеть увидеть нашего знаменитого иркутянина, когда все только и говорили о его новой повести.

Это происходило скорее всего летом 1968 года, потому что не было тяжелой верхней одежды. Вечер. Поднимаемся по серому бетону лестничных проемов ступенька за ступенькой. Я почему-то заволновалась и сказала Сане, что боюсь. Он засмеялся и сказал: «И поделом, он у нас такой, его бояться должны, особенно молодые девушки».

Дверь почему-то была не заперта и на кнопку звонка мы не жали. Вампилов, чуть прикусив губы от тихого старания, узкой изящной ладонью коснулся ручки, дверь подалась и мы оказались в небольшой, а скорее, очень маленькой прихожей, из которой сразу же была комната, где за откидной доской секретера красного дерева, сидел молодой человек, склонив голову над листами бумаги, освещенными небольшой лампочкой на штативе. Он что-то писал, немало не обратив на нас внимания.

Вампилов, артистично вскинув голову в буйной кудрявой шевелюре, подчеркнуто любовался этой картиной, приглашая глазами и меня оценить этот момент:

— Ты посмотри на него — творец!.. А!.. Валя!

Он торжественно поднял палец и глаза вверх, потом без смеха, серьезно, чуть понизив голос, мне на ухо: «Классик!.. а это уже без шуток».

У меня до сих пор перед глазами эта картинка: Валя медленно поднимается со своего места, Саня нас знакомит, произнося очень личные слова, оба тихо улыбаются. Мы стоим с Распутиным друг против друга, он — большой и уже очень знаменитый, и я — маленькая студентка. Мы просто молчим.

Хочу сказать о его молчании. Это особый распутинский дар, — молчать. О нем многие сегодня говорят. Тогда я ощутила его впервые.

В молчании происходила жизнь. Уже не было смущенной девчонки, не было Сани, не было и са-

мого Вали... просто была какая-то неведомая временная субстанция, которая являлась и знанием, и чувствованием, и проживаемостью не только данного момента, но и более глубокого чего-то...

Тогда я не понимала еще, что это распутинское умение брать людей в свое духовное пространство и есть его суть, щедрая суть.

Мы тогда не задержались надолго, чтобы не мешать Валентину работать.

«Каков мерзавец, а! — восхищенно приговаривал Саня, когда мы легким скоком спускались по лестницам, — я же тебе говорил, что мой друг Валька — гений!», потом, скосив свой хитрый в длинном разрезе глаз, добавил: «И я — гений!.. только попробуй, не поверь!».

В мою задачу не входит говорить о его книгах, таланте. Творчество Валентина Распутина уже стало бесценным достоянием русской литературы, и есть много людей, и будет ещё, которые профессионально оценят его вклад в нашу литературную сокровищницу. На мою долю выпало малое, о котором знает только моя душа, но это великое счастье, потому что она соприкоснулась с удивительнейшим человеком нашей эпохи.

<...>

Он и его произведения — одна плоть, одно импульсивное прикосновение к реальности, даже не импульсивное, а импульсное, когда каждое его слово — вскрик не только нервного волокна, как материальной ткани, но и поющий звук, звучащая нота бытия. Может, потому и написал он так немного, что каждую свою героиню он вынашивал, вскармливал, как мать ребенка, в своей душе мучительно и расточительно, распиная себя жертвенно и бескорыстно.

Почему именно женщина чаще плачет в его душе?... Она — не только дарительница жизни на земле, но и ее хранительница. Если что-то случается с женщиной, то последствия бывают катастрофическими — вспомним нашу праматерь Еву. Валентин Григорьевич очень тонко чувствовал сетевую атаку, если выразиться современным языком, на главное условие сохранения человечества как вида — не погубить, не извратить, не совратить женщину вновь, и она раздует огонь в очаге, обогреет Жизнь и не даст

ей погаснуть.

<...>

Валентин Григорьевич с такой проникновенностью делится болью за свою родную Сибирь, за каждое местечко под солнцем, которое даровано человеку и доверено ему на сохранение. Распутин никогда не забывает родной земли. Вот несколько слов из письма, которое он написал 29 июля 2012 г.: «На днях поеду, вернее, поеду вместе с батюшкой и его сопровождением, на мою родину, в Аталанку (это в 300 км по Ангаре в сторону Братска), чтобы в очередной раз привести к молитве местный народ. Там могилы моих бабушки с дедушкой, отца и брата, да и чуть ли не всей прежней Аталанки...».

А самым любимым для меня произведением является его рассказ «Что передать вороне?». Почему именно он? В этом рассказе я более всего вижу Распутина, его манеру писать, рассказывать, думать и размышлять, как ни в каком другом произведении он открыл свое непередаваемое и позволил побывать в нём читателю.

Сколько бы раз я не читала рассказ, не могу им наполниться, словно он длится и длится, имея только продолжение, открывая самые сокровенные слова Валентина Григорьевича о себе, о творчестве, о дочери... которые он произносит до сих пор. Бывает страшно — столь сильны и точны совпадения.

<...>

Когда я целый год была в Ивановском Свято-Введенском женском монастыре на послушании, где Валентин Григорьевич и разыскал меня, он удивлялся моему решению бережно и осторожно, рассказывая с теплой улыбкой о себе 19.02.2010 г.:

«Я верующий человек, — писал он, — и в храме бываю, и пошусь (но строго только в Великий пост), и духовный отец у меня есть, и все же я не из лучших молитвенников. С духовным отцом мы, можно сказать, друзья, вместе строили храм на моей родине в Усть-Уде (строил-то он, а я добывал деньги вместе с другими), и батюшка мой в добрые минуты посмеивается надо мной, а я отвечаю почти серьезно: «Верую, верую, батюшка, но что поделаешь, если я во всём неглубокий человек?» «Господь спросит, почему не углубляй», — грозит он. А я в последний раз

перед возвращением в Москву: «Батюшка, я человек грешный, грехов у меня много. Но когда предстану перед Господом, Он прежде всего спросит: «Компьютером, интернетом баловался?» — Нет, Господи, этим не грешен, Ты же знаешь». И Он определит меня в рай или куда-нибудь недалеко от рая. А ты, батюшка, столько же в храме, сколько в интернете, и мне же придется за тебя слово молвить».

Вот так приходится изворачиваться.

Далее Валентин Григорьевич писал:

«В телевизор я тоже заглядываю редко, смотрю только новостную программу. Но в ноябре мы с женой были впервые в жизни в санатории в Тульской губернии, и там мне дважды довелось слышать на TV о. Амвросия в его программе. Он говорил настолько легко и точно, настолько спокойно и глубоко, что это произвело на меня большое впечатление. И вот, оказывается, он твой духовный отец. Я близости со столь мудрыми и глубокими людьми побаиваюсь, потому что сам косноязычен, а теперь еще и болен, а имя своё и душу свою в потрёпанном виде показывать не хочется, но тебе завидую. И кланяюсь низко о. Амвросию».

Можно бесконечно говорить о Валентине Григорьевиче, а о своем творчестве мне как-то и говорить не хочется, когда касаешься такого уровня личности, как Распутин, бесконечно стыдно — какое-там у меня творчество, так, проба литературного пера, которая тоже началась в монастыре. Валентин Григорьевич называл мои упражнения в литературе «милыми рассказами».

Чему он научил меня? Тихой радости жизни, помнить всегда-всегда, что она бесценна как великий дар Божий, ещё научил с грустью и радостью помнить март, потому что это месяц его рождения и смерти...

А раньше у меня март ассоциировался только с собственной жизнью: так она выглядит во время исповеди, когда из души вытаскивается всякая мерзость, чтобы освободить дорогу чистой и свежей зелени. Выходит, Валентин Григорьевич помогает мне и здесь, помнить, что март — месяц пробуждения.

Беседовала Светлана Копел-Ковтун
Журнал «Сибирь» №2, 2016

ГУРИЙ НЕМЧЕНКО

В РАЗНЫХ ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗАПИСКИ ВОЛЬНОГО ГОРЦА

**«КАК ДОЛЖНО В НАШЕ ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ СВОЙ НАРОД»**

О чем только не раздумался в дни приближения 85-летия Валентина Распутина!..

Когда Валентин Григорьевич подписал мне тоненькую, с ладошку величиной, книжку очерков «Костровые новых городов». Неожиданно найденную мной в московском букинистическом магазине уже в восьмидесятых годах: «Откопавшему эту книжечку в неолитических слоях... с воспоминаниями о тех давних-предавних временах».

Конечно же, о временах сибирских ударных строек. О которых в начале шестидесятых годов прошлого столетия, каждому о своей, нам прямо-таки не терпелось поведать, ну чуть ли не все-му белому свету.

Ясное дело: «Костровые...» — первая вагина книжка!

И я так и держал ее за первую. И очень этим гордился. А то, что Валентин Григорьевич согласился потом написать предисловие к переведенному мной черкесскому роману «Сказание о Железном Волке» объяснял себе старым сибирским товариществом. Этими самыми ударными стройками как раз и скрепленному. Нет-ка!

Все потом оказалось куда глубже. Куда значимей. И — куда таинственней.

Как и сама личность Валентина Распутина. Словно русская душа распахнутого и словно она загадочного ...

Для начала позволю себе опубликовать мало

кому знакомый за пределами Северного Кавказа текст предисловия к роману Юнуса Чуяко. Как раз так Распутиным и озаглавленного: «Как должно в наше время любить свой народ».

«В этой книге в сущности нет сюжета, той бытийной канвы, того остова, который обрастает художественной плотью и являет законченную каноническую фигуру романа. Читатель, встречаясь с такой «законченной фигурой», чувствует себя спокойно: если она интересна, умна, духовно богата — он наслаждается ею, испытывает эпические и эстетические чувства от общения, испытывает и нравственное удовольствие от красоты поступков. Если же она неинтересна — знакомство всегда можно прервать. Но в любом случае у читателя складывается свой «физический» образ романа, который с чего-то начинается, проживает за определенный отрезок времени определенную последовательную жизнь и во имя какой-то морали, какого-то нравственного урока заканчивается.

В романе, который теперь перед вами, многое не так. Начинаясь, «как положено», с завязки, с приезда в адыгейский аул ленинградского ученого-археолога и его студента, уроженца этого аула, на раскопки кургана, который в скором времени уйдет на дно очередного рукотворного моря, они получают анонимное предупреждение: коснетесь священного кургана — вам не сдобровать. Начало — лучше некуда для принятой ныне литературы. Однако, этим его остросюжетность, да и вообще сюжетность в строгом смысле, и заканчивается. Вольно или невольно это случилось, не берусь су-

дить (да это не так и важно), но, начав повествование о жизни одного аула своего народа, о жизни, как принято говорить, на крутом ее изгибе, автор отдался описанию этой жизни без всяких литературных правил и повел его быстро, взхлеб, в каком-то выверенном беспорядке и подкупающей небрежности, словно от начала и до конца боясь, что ему почему-либо не дадут дорассказать, и все же успевая и умея говорить и вдохновенно, и подробно, и точно, и красиво. Это одновременно и прерывистое, и мощное повествование, трагическое и радостное, печальное и счастливое, историческое и современное, локальное и масштабное; оно все соткано из легенд, сказок, песен, традиций, обычаев и устоев народа, из поверий, сказаний, примет и «родимых пятен» его; язык романа — звуковой, интонационный, «слышимый»; герои — не столько действуют герои, сколько являют себя, создают строй ликов, рисующих вечное и живое чело нации.

Жанровое обозначение — роман — здесь условно; это страстная песнь своему народу, страстная любовь к нему и страстная тревога за его дальнейшую судьбу. Не помню, чтобы мне приходилось читать более «национальную» книгу, то-есть обращенную в себя, в свои природные и духовные начала, в свое родословие. Понятия «национальное сознание», «национальная память» здесь оживотворены, к ним никто не взывает, словно к спасительному знанию, а среди них существуют также естественно, как среди родной земли. Уважение к себе — это уважение к другим, знание себя — жажда познание других, национальная исполненность и состоятельность — первое условие всечеловечности всякого народа.

Вот так, как в этой книге, давно следовало нам представляться друг другу в «семье единой», чтобы друг друга понимать, уважать и быть истинными братьями.

Но не напрасно роман называется «Сказание о Железном Волке» — о чудовище, безжалостно пожирающем аулы и выедающем сердца людей, способных затем попить, предавать, забывать, торговать древней своей землей и отеческими

святынями. Если говорить о России, «железный волк» — что он собой олицетворяет, за последние десять-пятнадцать лет уничтожил во имя «благодетяний» более ста тысяч деревень и во имя «свободы» не просто охолодил, а наполнил злобой друг к другу сердца миллионов и миллионов людей. Теперь это чудовище уже не прячется, а действует открыто и откровенно, и нет народа, которому бы оно не угрожало гибелью. Юнус Чуяко, автор этой книги, почувствовавший опасность для своей, казалось бы, национально благополучной Адыгеи, бьет тревогу, имея определенный запас прочности народного сознания; у русского народа этот запас, как мне представляется, гораздо меньше. И физическая величина народа — маленький он или большой, решающего значения в этом сокрушительном процессе «выветривания» и «охлаждения» людской породы не имеет: мы все одинаково стоим перед трагическим выбором, чем нам быть завтра — самими собой или безликой потребительской массой, которую из нас старательно выпекают.

Хочется надеяться, что Юнус Чуяко пропел не прощальную песнь своему народу и что этот красивый и мужественный народ, призвав на помощь все огромное богатство своей национальной жизни и своего прошлого, выстоит — как должно стоять и выстоять всем нам вместе.

В конце своего маленького слова хочу поблагодарить русского писателя Гаяра Немченко за то, что он взял на себя немалый труд и выполнил его, насколько я могу судить, блестяще — труд, во-первых, перевода этой книги на родной мне язык, и, во-вторых, невольного упрека, как должно в наше время любить свой народ.

Валентин Распутин»

Написано это в 1992-ом году — роман Юнуса Чуяко вышел в Майкопе в роковом «девяносто третьем». Но разве эти вдохновенно-пророческие, похожие на нравственный кодекс строки — не на все времена?

А складываться они начинали, так получается, еще в самом начале шестидесятых годов прошло-

го века. В суровых восточно-сибирских Саянах. Куда начинающий журналист Распутин приехал в командировку и жил у охотников-тофаларов. Среди отважного малочисленного народа, закаленного бескрайней тайгой и заснеженными горами. И о нем, о его простодушно-мужественном величии была первая книжка Валентина Григорьевича.

Называлась она «Край возле самого неба».

**БЛАГОДАРНОЕ СЛОВО ЧЕРКЕШЕНКАМ,
ИЛИ**

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

Вглядываясь и раз и другой в то, что в этом сочинении уже написано, невольно ловишь себя на мысли: хорошенькое, мол, дельце!.. Взятая вещь о Союзе писателей в целом, и все шло как по маслу. Никаких проблем, что называется!.. А вот рассказать об одном-единственном представителе писательского сообщества... Которого вроде бы достаточно близко знал и на протяжении многих лет считал и своим товарищем, и — соратником... так вот, достойно рассказать о нем, ох как непросто!

Был он, конечно же, человеком особенным, но кто из нас, на свой манер, не таков?

Не исключено, что от Валентина Григорьевича исходил некий невидимый глазом, но ясно ощущаемый душой тихий и ясный притягательный свет.

О котором ты всегда, с еще неосознанной благодарностью, молча помнил.

Но вот нынче пытаешься и осознать этот, может быть, чисто сибирский феномен и о нем рассказать.

Потому-то небось и топчешься вокруг да около. Как все еще неумелый, несмотря на преклонные годы, ученик на школьном уроке рисования...

В прошлые шестидесятые годы я тоже несколько раз бывал в дальних странах, но брали меня туда как подающего надежды пр-р-олетарского, конечно же, писателя-сибиряка. Чтобы разбавить группу передовиков с ударных строек, провинциальных девчат-колхозниц и, ясное дело, многоопытных комсомольских долдонов...

Валя, если не ошибаюсь, сразу начал с поездок

чисто писательских, и одна из первых была — вместе с купавшимся тогда в славе Юрием Трифоновым. Можно представить, сколькому он, человек деликатный и любознательный, мог от собрата-мастера научиться!

Мне-то досталась лишь коротенькая встреча в Доме литераторов, которую устроил хорошо знавший Трифонов его тезка Юрий Казаков, да восхищенные рассказы младшего друга, кабардинца Тенгиза Адыгова (Мухамеда Маржохова), принесенные из семинара прозаиков, который в Литинституте вел Трифонов.

Тем не менее одно из «трифоновских» наставлений выпало мне и в полной мере усвоить, и вот уже много лет ему следовать: **н е б о й т е с ь п о в т о р я т ь с я**.

Не только потому, что «повторение — мать учения», как нам еще в средней школе втолковывали. Для нашего брата-литератора суть его в том, что оно раздвигает границы наших представлений о мире. И в воспоминания о былом привносит вдруг неожиданные разгадки: ты спишь, а подсознание работает!.

... Валентин Григорьевич прислал тогда в Майкоп два письма. В том, которое пришло по адресу, где мы жили, он посмеивался: мол, в хорошем месте устроился! Бывает, само собой, чужие тексты воруют. Но чтобы дописывали!..

А вот письмо в отдел краеведения:

«Дорогие Сара Хазретовна и Марина Беспанова!

Пишу от руки, чтобы моей руки было побольше, и не появилось сомнений в её подлинности. Сим подтверждаю, что предисловие к роману «Железный волк» друга переводчика этого романа на русский язык, а после прочтения его и моего друга Юнуса, от начала и до конца (предисловие) написано мною и никем другим в его существующем тексте написано быть не могло.

Простите за это странное и, казалось бы, излишнее утверждение, но оно понадобилось потому, что у кого-то появились сомнения в этом, и — что же делать? — приходится убеждать, что я — это я, и никем в этом качестве быть не могу.

Кланяюсь вам, а также моему другу автору романа Юнусу.

Вал. Распутин»

Даже не само письмо — его ксерокопию впервые увидел через много лет, уже в 2021-ом. Когда ушедшая на пенсию, но так и не написавшая пока мемуаров Сара Мугу, Сара Хазретовна, по моей просьбе прислала ксерокопию валиного письма...

Ах, Валентин Григорьевич! Ну, зачем так простодушно поверили мы в прогресс и чуть ли все поголовно сменили перьевые ручки на новомодные — шариковые?!

Да еще с твоим почерком с маленькими, прямо-таки бисерными буковками?!

Конечно же, «шарик» выцвел, тем более, что писали мы не фирменными, забугорными ручками, а «самопальными» российскими — от родных наших первопроходцев-кооператоров. «Кооператоров». Но что делать?!

Зато как ярко помнится праздник, который ты даже не мне — всему Майкопу, это правда, устроил. Так вышло!

Когда привычно говорим, что, мол, Восток — дело тонкое, невольно обижаем Кавказ. Не там ли издревле живут мастера самой искусной, какая

только есть на белом свете, самой изящной и в то же время прочной работы! В том числе и мастера плетения словес, разумеется.

Конечно же, мы с Юнусом были тогда в достаточно сложном положении. Его романом зачитывались, но братское твоё предисловие, когда его приписывали мне, русскому переводчику, давало как бы обратный эффект: кому поверили?!.. Надо бы разобраться, у кого они все это «содрали»!

Подтвердив, что оно твоё, ты, словно добрый волшебник, освободил добропорядочных читателей от злых чар. И вернул их любимому городу и честь, и достоинство.

Преображение началось, конечно же, с отдела краеведения. Но разве могли работавшие там и молодые, и чуть постарше черкешенки утаить этот радостный х а б а р, это правдивое известие от близких им по духу людей, от своих родных и знакомых?

«Да, сам Валентин Распутин письмо прислал!.. Можно зайти в библиотеку и посмотреть!»

И — заходили. И смотрели.

Печатается в сокращении. Полностью читайте на сайте rkuban.ru

■ **ЮРИЙ КОЗЛОВ** (писатель, г. Москва)

РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ

Валентин Распутин родился в марте 1937 года, а умер в марте 2015 самую малость не дожив до дня рождения. Хотя его земляки, ссылаясь на разницу во времени между Москвой и Иркутском, утверждают, что Распутин родился и умер в один и тот же мартовский день.

Его, вынужденно воздавая официальные по-

чести, не любили ни советская, ни постсоветская власть. Уже в первом значительном произведении «Деньги для Марии» Распутин показал, как уродуют и калечат деньги души «малых сих». Правовверная советская литературная критика поначалу не одобрила и его роман «Живи и помни». Симпатичные человеческие черты в

образе скрывающегося от фронта в бане дезертира показались ей совершенно неуместными. Как и страдания старухи Анны в «Прощании с Матёрой». Страна строила каскады гидроэлектростанций, а тут плач по какой-то затопленной деревне. Да и перестроечный «Пожар» не обрадовал тогдашнюю, увлечённую «перестройкой» и «гласностью» партийную элиту, через несколько лет точь-в-точь как героини повести деятельно включившуюся в разграбление имущества объятого социальным пожаром СССР.

От мысли, что деньги — зло, что русский народ, случись в СССР «денежная революция» пропадёт, Распутин не отступал до самой смерти. Он отказался «переобуваться в воздухе» — клеймить советское прошлое, как это сделал, к примеру, Виктор Астафьев.

Как и многие соотечественники, Валентин Распутин пришёл к выводу, что советский социализм, несмотря на все свои недостатки, больше подходил для России, чем сменивший его «периферийный» капитализм, совершенно не учитывающий, по мнению писателя, глубинную психологию и трудовую мотивацию народа. В своей публицистике и поздних рассказах Распутин объяснял, что в русском сознании, наверное, со времени отмены крепостного права и промышленной революции второй половины XIX века поселилась ненависть к тем, кто (по Марксу) наживается на чужом труде и созданном руками народа имуществе. Кто одним своим существованием (дворцы, яхты, миллиарды, семья за границей и т.д.) оскорбляет вековые народные представления о справедливости как мере всех вещей.

Распутин — наследник великой, отрицающей капитализм, классической русской литературы. О «свинцовых мерзостях» этого строя писали Толстой, Достоевский, Чехов, Гаршин, Решетников, Успенский, Лесков, Некрасов. Внесли сюда лепту и знаменитые сибирские писатели, именуемые в старых литературных энциклопедиях «областниками» — Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк, Обручев, Крестовский, Авена-

риус, Маркевич. К концу девятнадцатого века в России сложилось настоящее антикапиталистическое, антинигилистическое направление в литературе. Эти писатели показывали, как низовая Россия, ментально и экономически не воспринимающая капитализм как хозяйственную систему, а либерализм, как основу общественных отношений, тем не менее, по воле верхов чахнет от язв капитализма и либерализма. Помимо этого, в русском варианте либерализма они обнаруживали мощнейшую антинациональную направленность.

Валентин Распутин, как мог, продолжал в своём творчестве антинигилистические и антилиберальные традиции. Встречаясь под телекамерами с Распутиным на берегах Байкала, как правило, в канун каких-нибудь выборов, российские руководители не могли понять, о чём, сбиваясь и волнуясь, говорит этот человек, чего он хочет? Это было видно по их лицам. И, как я вынес из своих редких разговоров с Валентином Григорьевичем, он сам искренне тяготился невозможностью взаимопонимания с представителями «верхов». Впрочем, этого взаимопонимания и не могло быть. Распутин нес наверх мысли зажатых русских низов о правде, справедливости, глубинной неудовлетворённости существующими реалиями. «Верхи» же в ответ скучающе кивали, в лучшем случае обещали писателю оказать материальное содействие в каком-нибудь умеренно-патриотическом культурном проекте. «И на том, спасибо!» — обычно говорил в таких случаях Распутин. Он часто с горечью повторял, что народ и власть существуют в разных часовых (жизненных) поясах, и эту разницу во времени преодолеть никак не удаётся.

Сейчас на дворе другое время. Но боль Распутина не изжита. «Глубинный народ» по-прежнему мечтает о чём-то несбыточном и невозможном — о граде Китеже, Беловодье, а может сразу о Царствии Небесном? Мечтает и перечитывает книги Валентина Григорьевича Распутина, возвращаясь в то невозвратное время, когда люди жили, а не выживали.

■ ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН (писатель, г. Москва) ■

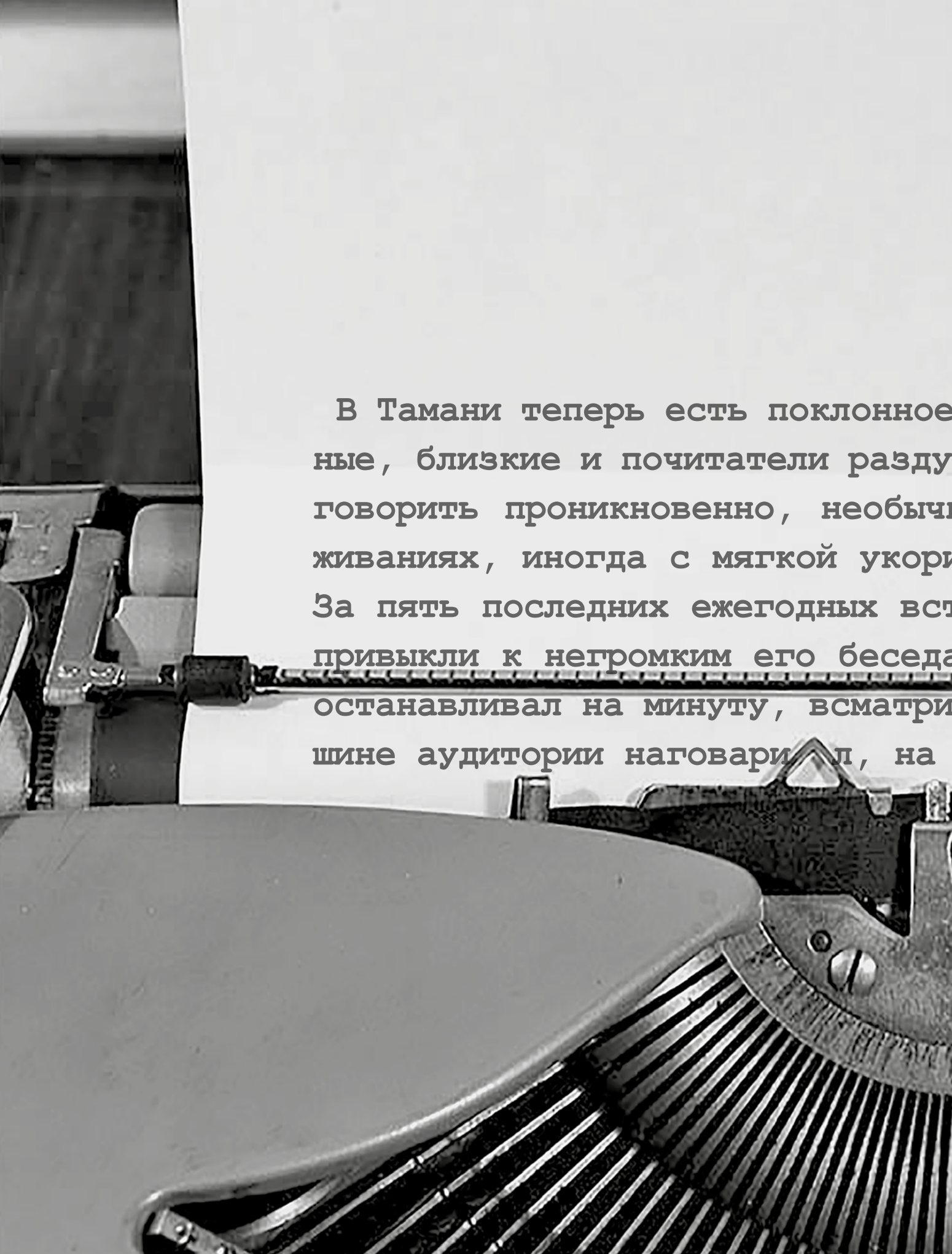
Валентин Распутин был хранителем тайны и сам тайна. Его удивительное качество— Распутин был в самой гуще и политики, и обыденной жизни, но при этом до конца так его никто и узнал. Он был словно посланец небес и старался себя не расшифровывать. Свою жизнь полную страданий и страстей он практически и не запечатлел в произведениях. Они как-то боком скользнули вокруг его судьбы, характера. Это был человек-загадка.

При этом в литературном направлении писателей-деревенщиков, несмотря на молодой возраст, он оказался тем буксиром, что тащил этот караван по бурной стремнине, для совершения промыслительных задач. В начале семидесятых, стала задача вдруг проснуться русскому человеку, вспомнить себя забытого, понять, что такое русский человек и в чём его задачи. Вспыхнули имена Белова, Лихоносова, Астафьева. Распутин в этой когорте был замыкающим, последним. При этом он оказался во главе отряда нравственников, почвенников, деревенщиков. Ещё молоденьким он стал кем-то вроде атамана. И все, даже гонорливый Астафьев, признали о совершенство, Распутина и то, что он может вести. И Валентин очень неторопливо, но уверенно вёл эту повозку, понукал когорту писателей в верном направлении. Помню, как во вре-

мя писательских поездок - сходилась народ, залы были битком, встречи длились по несколько часов, будто сверхлюди какие приехали.

В русской литературе писатель, как бы ни отрицали этого либералы, несёт в себе учительское начало. Писатель до сих пор играет роль учителя, священника, путеводителя, философа и пророка. И Валентин Распутин исполнял все эти функции — был учителем, ясновидцем, пророком, страдальцем за народ. Он аккуратно вывязывал слова в строку, словно боясь сказать что-то лишнее, неправильное. Я всегда удивлялся тому, как Валентин точно складывает слова, сколько они несут внутренней мысли.

Случился закат целого направления в литературе. Как говорят, солнце уходит на запад в глухой угол, но наступает утро и солнце встаёт с востока. И благословенно солнце неумирающее. И литература как солнечное, духовное направление никогда не потухнет. Появятся новые имена, вылепят новые направления, продолжающие прежних учителей, что посетили русскую землю. Никогда не опустеет эта пашня, как бы не надеялись наши противники. Да, сегодня она заросла чертополохом, ельником, отдыхает. Но всё равно будет день, когда пройдет плуг русской правды, вспорот землю, перевернет влажным пластом на солнце и появятся новые всходы великой русской литературы. ■



В Тамани теперь есть поклонные,
близкие и почитатели раздвигать,
говорить проникновенно, необычно
живаниях, иногда с мягкой укоризной.
За пять последних ежегодных встреч
привыкли к негромким его беседам.
останавливал на минуту, всматриваясь
в лице аудитории наговаривал, на

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

е место, куда будут приходить род-
мчивого таланта писателя, таланта
но о литературе, о высоких пере-
изной и наставлениями к молодежи.
греч на конференциях его имени мы
ам об убегающей жизни, которую он
вался в нее, а потом в чуткой ти-



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



«ОТКРОЙТЕ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ РУССКИЙ СВЕТ»

У нас невольно, от постоянного общения с ними, создаются зримые и монументальные образы самых великих художников в литературе: Пушкин, блистающий талантами, как рыцарскими доспехами, по духу и образу жизни истинно рыцарь, высоко поднявший значение и честь литературы, защищавший честь России и свою личную честь; Гоголь — как нахохлившаяся вещая птица, слетевшая на многострадальную нашу землю из неведомых высот; Толстой — точно корневище огромного дуба, глубоко в землю запустившего корявые и мускулистые лапы корней и вбирающего все начала жизни и все учения мира... Толстой, сиротствующий без креста на своем могильном холме... И Достоевский со скрещенными на коленях руками и мученическим лицом, с пристально устремленными вперед глазами, как на известном портрете Перова, и в глубокой думе, выдающей огромную работу ума и души. Толстой — произведение природное, былинное, похожее на мифологического Пана, при всей своей могучести так и оставшееся не-

завершенным; Достоевский — произведение духовное, не корневое, а плодное и по мысли, по характеру работы совершенное. Его глубины — это немеренность человеческой души, безудержные страсти его героев сравнимы с горячим выплеском лавы из запущенных и обремененных грехом пластов, до них чудом достает смиренный и пронзительный луч любви и вызывает извержение, после которого должны последовать или гибель от непереносимой боли, или преображение. У Достоевского лицо духовника, озабоченного устройством душевных глубин, все, о чем он говорит, он говорит доверительно, наклоняясь к вашему уху, порой сбиваясь, торопясь, потому что желающих подойти к нему много, но не сбиваясь с доверительности, договаривая до конца. Вот это-то собеседование, требовавшее полного внимания, и признавалось не умеющими слушать за «болезненное впечатление». В храме другой язык, чем на улице. К чтению Достоевского приходится готовить душу, как к исповеди, иначе ничего не поймешь.

Достоевский — пророк, Достоевский — поразивший мир своим буйным и выверенным психологизмом художник. Все это неоспоримо. Конечно, пророк, многое предугадавший и многое сказавший навечно. В сущности, все у него, за исключением двух-трех политических статей в «Дневнике», сказано навечно, и чиновника, поступающего на государственную службу, следовало бы подвергать экзамену, читал ли он Достоевского и что он взял у Достоевского. Но для нас как-то не столь уж важно, что он пророк, для нас пророк — далекое, поднебесное понятие, до которого не дотянуться, а так не хочется отпустить от себя Федора Михайловича и лишиться его близости и доверительности. Его пророчество объясняется тем, что он был умным и внимательным зрителем русской жизни и как исповедник знал, где в человеке искать человека. У него десятки откровений, которые превосходят человеческий ум, даже самый пронзительный, и которые, кажется, не могут быть земного происхождения, но озарение знает, в каком сосуде блеснуть.

Самое важное, быть может, для нас сегодня — припомнить, что из своей вечности Федор Михайлович говорит о народе, из которого он вышел, о литературе, которой он служил, о жизни, которую наблюдал.

Он говорит: «Все наши русские писатели, решительно все только и делали, что обличали разных уродов. Один Пушкин, ну да, может быть, Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит... Остальные все только к позорному столбу ставили, или жалели их и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого могли сказать доброе слово, за исключением себя, обличителя?.. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было поклониться? Его не нашли, что ли!..»

Не больно-то его и искали. После Достоевского литература еще усердней занялась переустройством социальной жизни; как жу-

ки-древоточцы, художники крошили основание тысячелетнего здания, умилаясь в перерывах родным картинам вокруг, родным лицам и родным песням. Поумиляются — и снова за работу. Рухнуло здание (отчего так хочется думать, что доживи Достоевский до возраста Толстого, этого не произошло бы с такой стремительностью и безоглядностью, с каким-то бурлацким «эх, ухнем!» — хотя здравый смысл подсказывает, что и он не удержал бы этого безотчетного разрушительного порыва, но так велик был авторитет Достоевского, таким обнадеживающим ореолом засияло его имя, что просвещенным русским людям представилось, что даже похороны Федора Михайловича, многотысячные, явившие огромную соединенную боль и волю, сумели остановить надвигающуюся революцию) — но рухнуло здание, принялись выстраивать новое, в литературе поменяли почерк с критического на социалистический, последний потребовал «героя нашего времени» по идеологическим меркам. Позднее, после войны, литература сумела-таки поклониться воину, защитнику Отечества, еще позднее нашла она и подходящие чувства, и язык, чтобы поклониться старикам, хранителям народных традиций и языка, веры и совести, на своих плечах в несказанной муке вынесших Россию из голода, холода и неурядства, но поклонилась им литература уже с края могилы, в которую уходила русская деревня. А затем опять, и с еще большей страстью, с еще большим остервенением, началось поношение народа, не прекращающееся по сей день: и такой он, и сякой.

Да, и такой, и сякой...

«Но народ сохранил и красоту своего образа, — отвечает Достоевский. — Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет найти в этой грязи брильянт. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым

и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же в народе мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!»

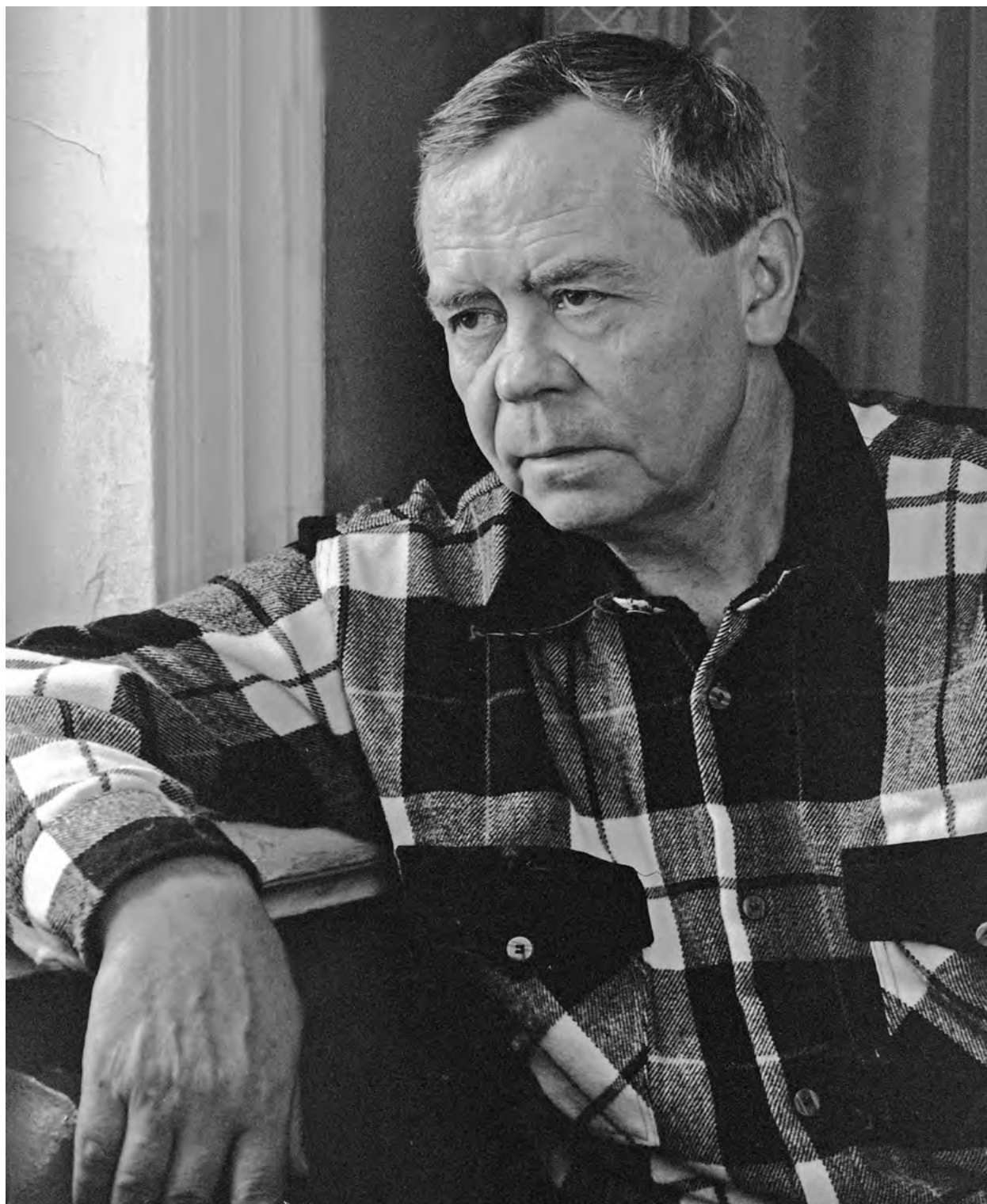
Хорошо сказано Аглаей Епанчиной в «Идите»: «Есть два ума — главный и не главный». У Достоевского во взгляде на Россию и народ ее был именно главный ум, видящий дальше избращения перед глазами, проникающий через времена, освещенный любовью и состраданием, подтвержденный их духовным значением.

Достоевский — наш современник. Не ахти какое открытие, каждый большой писатель больше времени, в которое он живет, поскольку нерядовой талант — это кладовая со многими дверьми и это истины, раскрывающиеся, точно цветы во всякую весну, перед каждым новым поколением. Но Достоевский, как и Пушкин, ближе и современной нам целого ряда других великих, точнее, обширней, сердечней и глубже. Даже постоянно читающие Федора Михайловича знают: у него строки имеют способность прирастать к прежнему тексту. Не было — и вдруг обнаружилось, и обнаружилось в удивительном созвучии с происходящими событиями. Он сумел рассмотреть наших новых либералов, пришедших к власти, и сказал об их преступном обезьянничанье и пресмыкательстве перед Западом. Он точно побывал в Думе, когда там принимался Земельный кодекс, и воскликнул, дивясь неразумности «народных представителей», осмелившихся торговать землей: «...земля — все, а уж из земли для него (для крестьянина. — В. Р.) все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, все, что есть драгоценного». Он сказал и о реформе образования, и о необузданных свободах, и о чужебесии, и о национальном вопросе, и о братстве, и о русских, отторгнутых от родины, но остающихся русскими, и о том, что наш всемирный путь лежит не через Европу (а он считал Европу второй родиной), а через нашу национальность. Более 120 лет назад он сказал

решиительно обо всем, что считается сегодня злободневным, и заключил:

«Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет... Откройте русскому человеку русский «свет», дайте отыскать ему это золото, это сокровище, скрытое от него в земле. Покажите ему в будущем обновление всего человечества и Воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше!»

Две силы — родная вера и родная литература — духовно сложили русского человека, дали ему масштаб и окрылили его. Такого влияния и такого значения литературы ни в одном народе увидеть больше нельзя. Когда насильственно отвергнута была вера, почти столетие литература, пусть и недостаточно, пусть и притчево, иносказательно, но продолжала духовное дело окормления и не позволила народу забыть молитвы. Теперь, при иных порядках, отвергается литература русского склада. В нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами, властителями дум. Теперь они родственной толпой, подбадривая и подталкивая вперед друг друга, кинулись наперебой выводить смердяковское: «Россия-с, Марья Кондратьевна, одно невежество. Я думаю, что эту проклятую Россию надо завоевать иностранцам». Сумеет ли, в свою очередь, вера поддержать литературу, трудно сказать. Ибо России для ее нравственного и духовного спасения и возвышения нужна не просто хорошая, честная, чистого письма литература — ей нужна литература сильная и влиятельная, жертвенного реализма, достойная Пушкина и Достоевского.





ЛИДИЯ СЫЧЁВА

Родилась в 1966 году. Окончила исторический факультет Воронежского пединститута и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книг прозы, публицистики, литературной критики. Главный редактор интернет-журнала «МОЛОКО». Проза Лидии Сычёвой переведена на арабский, болгарский, китайский и немецкий языки. Живёт и работает в Москве.

НУЖНЫЕ ЗАВЕТЫ НЕ ЗАБУДЕМ

Середина 90-х. Звонок в «Учительскую газету», где я работала редактором отдела школ. «Профессор Владимир Базарный прочитал вашу статью и приглашает приехать к нему в Сергиев Посад. В Научно-внедренческую лабораторию физиолого-защитных проблем образования, которой он руководит. Вы, конечно, знаете о методике Владимира Филипповича?»

Нет, я первый раз услышала о Базарном. Я знаю о голодовках учителей, о задержках зарплаты, о том, что кое-где дети падают на уроках в обмороки от недоедания. Знаю о чехарде с преподаванием истории, о «граждановедении» — этот предмет в России продвигают американские фонды, о западных фармкомпаниях, пытающихся внедрить в наши школы «половое воспитание» и ещё о многом другом. Но фамилия «Базарный» мне, столичному учителю с семилетним стажем и молодому редактору ведущей образовательной газеты, ничего не говорит.

В тот день о Владимире Филипповиче мне рассказывал его соратник, Валерий Берчун. Целая лекция по телефону на тему здоровьеразвивающей педагогики! Я даже подумала, что мой собеседник — врач или учёный. Но всё оказалось гораздо романтичнее: Валерий Валентинович — полковник ГРУ, «афганец», служивший вместе с легендарным генералом армии Валентином Ивановичем Варенниковым. Забегая вперёд, скажу, что деятельность Валерия Берчуна на «гражданке» — настоящий подвиг разведчика! Лет через двадцать после нашего знакомства я впервые увидела его в военной форме со всеми регалиями и ахнула — ого, какой «иконостас»! Мог бы жить припеваючи, почивать на лаврах — заслуги позволяли. А он ввязался в многолетнюю битву за будущее России — за спасение детей, за просвещение родителей. Отдавал этому делу всё своё время, силы, личные деньги. Научным руководителем этого величайшего в новейшей истории России сражения, полководцем «сил добра», как раз и был Владимир Филиппович.

Уже через месяц после первой встречи с Базарным

я буду делать всё, что в моих силах, чтобы это имя узнали как можно больше людей.

И вот теперь, с зажженной свечей, я стою у его гроба. И думаю: какое же это счастье, что я его знала! Что он дарил меня не только своим вниманием, но и любовью. Человек, который мог бы коренным образом изменить развитие страны, да что там, — всего мира!.. Если бы его идеи природосообразности в воспитании детей хотя бы наполовину были воплощены в России, у нас была бы другая страна. Сколько жизней было бы спасено! Сколько счастья добавилось в мире! И тон сейчас задавали бы не инклюзивщики во главе с Клаусом Швабом, а последователи ноосферной концепции Владимира Вернадского. Но... «Мы проиграли битву поимённо, И нет для победителей даров».

Каждый раз, когда наше общество сотрясает очередная жуткая весть о расстреле в школе, вузе или техникуме, о самоубийствах детей, о маньяках-педофилах, о звериной жестокости родителей, я всегда вспоминаю Базарного. В середине 90-х он всё это уже предвидел. Пытался донести горькую правду до учителей, чиновников, политиков, журналистов. Его предсказания — не прогнозы социального фантаста, а выводы учёного, исследователя детской психофизиологии.

Горечь, экспрессия, апокалиптические пророчества, то, с какой болью и страстью он выступал на публике, отвращали от профессора Базарного многих сильных мира сего. Во властных кругах принято быть отстранёнными от процесса. Ещё бы! Ведь «включённость» предполагает ответственность! И — «выход из зоны комфорта», действия по преодолению духовной лени и трусости. Теперь, пересматривая видео с выступлениями Владимира Филипповича (их много!), я не устаю удивляться его упорству и терпению: в любви, даже самой недружественной аудитории он стремился высказаться предельно, до конца.

В книге «Школьный стресс и демографическая катастрофа России» (я была её редактором) Базарный показал, как нынешняя система образования «на седа-

лищах» раскручивает гибельный механизм уничтожения жизни, как формирует у детей зомби-интеллект, как возвращает дух паразитизма и потребления. Кстати, министр образования и науки Андрей Фурсенко (2004–2012) так и заявлял: «Школа должна готовить не творцов, а квалифицированных потребителей». Дестукции сего госдеятеля не отмает добела ни одна пиар-служба. Да ведь и преобразование журналистики в сферу беспринципных услуг — это тоже следствие процессов, описанных Владимиром Базарным. «Беда ожидает тот народ, ту цивилизацию, которая перестанет воспитывать мужество у своих мальчиков. В среде этого народа поселяется страх, парализуется воля, растёт хаос в духовной сфере». В 90-е годы, когда вышли наши интервью с Базарным «Без мужчин народ — не народ» и «Бесполоя культура — культура зла», ЛГБТ-лобби на Западе ещё не достигло нынешнего апогея. Но уже тогда Базарный предсказывал: «У западной цивилизации нет будущего — природу не обманешь».

Теперь, когда население европейских городов изрядно «потемнело», а футбольные матчи начинаются коленопреклонением, не признать его правоту невозможно.

Прощание с Базарным проходило в зале крематория «Горбрус» в подмосковной Балашихе. До 80-летия Владимир Филиппович не дожил четыре месяца. Казалось, что проводить его придёт «уходящее поколение». Но в плотной толпе вокруг гроба много крепких мужчин самого расцвета жизни — между тридцатью и сорока. Не всех я знаю — к Базарному приехали люди из многих городов и даже из других стран. Вот и Василий Савушкин из Белореченска здесь. Многодетный отец, он развивает на Кубани «Пространство» — семейный центр, основанный во имя современного, экологичного, живого образования и воспитания. В основе начинания — технологии Базарного.

...Шёл чин отпевания, но, пусть Господь простит меня за откровенность, как-то «деревянню», не трогая сердца. Люди дисциплинированно держали свечи, даже те, про кого я точно знала, что они атеисты. А всё же церковнославянская речь и наша скорбь не сливались в общее чувство. Мы, собравшиеся, слишком хорошо помнили живого Базарного! Его страст-

ную веру, его призыв: не быть духовными рабами, не подчиняться рутине, если она вредит ребёнку, калечит детскую душу.

У Владимира Филипповича в квартире в Сергиевом Посаде (я была там однажды) вся комната — в иконах. Три из них он подарил мне — в разные годы. Огромный лик «Богородицы семистрельной» висел над моей головой на работе — в журнале «Российская Федерация сегодня». Наш главный редактор, Юрий Алексеевич Хренов, правил полосы за конторкой диктора Базарного. Теперь икона у меня дома, а журнал, как юридическое лицо, закрыт. Какие грозные символы! Журнал не смог победить всемогущий вице-премьер Анатолий Чубайс, «РФ сегодня» доконал административный голем.

Член Совета Федерации от Ставрополя Анатолий Антонович Коробейников (в прошлом — первый замминистра просвещения СССР), Олег Николаевич Смолин, первый зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке, всячески поддерживали идеи и начинания Базарного. И, несмотря на то что Минздрав и Минобр одобрили все наработки Владимира Филипповича, внесли их в нормативные документы, дело не двигалось, разбиваясь о косность и равнодушие «квалифицированных потребителей». Базарный часто в своих статьях и книгах цитировал Священное Писание. И вот сейчас вспомнилось: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня».

Смерть большого человека — яркая вспышка. В ослепительном свете боли и памяти многое видится по-другому. Сколько же он успел! Сколько книг написал, сколько открытий сделал, сколько провел конференций, консультаций, поездок по городам и весям! Как радовался, когда Республика Коми внедрила его систему во все образовательные учреждения региона! Но сменился глава администрации — и всё пало. Та же картина — на Ставрополе. Долгие переговоры с Новосибирской областью. «Самодетельность» (то есть работа по системе Базарного, но без его научного сопровождения) тут и там, и не всегда с пользой для дела. Наконец, приглашение в Азербайджан, где Владимир Филиппович стал советником министра образования страны. Воистину, нет пророка в своём Отечестве!..

— Мы, советские офицеры, отдаём воинские почести великому человеку! — говорит Валерий Берчун, и что-то неуловимо меняется в стиле помещения крематория. Это врывается стихия живого, страдающего чувства, которое трогает наши сердца и рождает нечто, что перельётся потом в души и в слова, в память и в поступки, в жизненный выбор каждого и в чём-то определит судьбу России. «Свет — призванью и терпенье людям, Умираем здесь, а не гостим. Нужные заветы не забудем. Грубые обиды не простим».

— Мы не успели стать с Владимиром Филипповичем близкими друзьями, но были соратниками по общему делу, — вторит однокашнику по Военной академии им. М.В. Фрунзе полковник Владимир Квачков.

Пять старших офицеров застыли в почётном карауле у гроба профессора Базарного. Вот и Владимир Филиппович в строю небесных защитников России... Как жаль! Не верится, что больше никогда не услышу в телефоне его голос, не увижу его улыбку — заразительно-обаятельную. Мы-то думали, что ему сноса не будет — энергичному, подтянутому, требовательному. А может и ему, всегда бодрому и сильному, к чьей помощи и совету мы часто прибегали, не хватало внимания, ласкового слова, любви человеческой?.. Сколько он перенес клевет, зависти, доносов, несправедливости! Лжеакадемики отлично освоили мастерство «поддачи» своих куцых тезисов, а Базарному, каждый разговор с которым рождал несколько тем для серьезных исследований, всё время приходилось «биться о гранитные скалы», чтобы доказать очевидное. Компьютеры главенствуют! Серость — торжествует. Где же ты, суд Божий и суд человеческий?..

Те, кто следит за современной общественной мыслью России, знают, что ныне понятия «культурный код», «образ будущего», «клиповое мышление» стали почти клише, укоренившись в словарях «медийных голов». Но обо всём этом Владимир Базарный говорил ещё двадцать лет назад! Почему же его не слышали?.. А сам он много читал, просматривал горы прессы — ужасаясь и фиксируя «социологию распада». И — ликовал — если находил родственную душу. «Есть минуты, когда не тревожит... Их почему-то остается всё меньше, этих минут. И всё чаще тоска, которую лучше держать при себе», — так начиналось эссе в «Учительской га-

зете», познакомившее меня с Базарным. «Я с первого абзаца понял — вот человек, который мне поможет!» — хитро улыбаясь, говорил Владимир Филиппович. «Это Александр Блок Вам помог. Есть минуты, когда не тревожит Роковая нас жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, Кто-то ясно заглянет в глаза... Благодарите поэта!»

Поэзия меня привела к Базарному, она же и увела от него — литература, а не журналистика, пусть даже самая полезная, созидательно-конструктивная, становилась главным делом моей жизни. Но природосообразная концепция Базарного сильно укрепила основы «философии творчества» и дала возможность цельного взгляда на многие вещи. Например, на горы «филологической мертвечины», произведенной так называемыми «учёными». Их эстетическая всеядность и садистские издевательства над русским языком есть ни что иное, как комплексы рабов духа, закамуфлированные под «широту знания».

...После прощания, долго, до самого девятого дня, наверное, мне всё чудилась щемящая мелодия аккордеона — вариации Юрия Дранги (давнего друга Базарного) на тему русской народной песни «Тонкая рябина». Владимир Филиппович и сам был профессиональным музыкантом, аккордеоном владел виртуозно.

На видео, которое показывали на поминальной трапезе, мелькали фото из его жизни. Хата в селе Юрковцы Талалаевского района Сумской области Украины, где он родился. Прыжок в Енисей с крутого берега — бурная и лихая юность. Будни хирурга высшей квалификации в Красноярской краевой детской офтальмологической больнице, где он заведовал отделением. Работа в НИИ медицинских проблем Севера Сибирского отделения АМН СССР, где в 1977-91 гг. он сделал свои первые фундаментальные открытия. И — детские доверчивые лица. Цветы жизни, ради которых он отдал свою жизнь — без остатка.

Могила его будет в Красноярске. Может быть, в её изголовье вырастет тонкая рябина. А может, кудрявый клён или черёмуха?.. А дело, начатое Владимиром Базарным, будет жить. Его продолжат те, кто хотят вырастить своих детей не депрессивными гермафродитами, а свободными и счастливыми людьми.

Да будет так!

**ИННА КОВАЛЕНКО,
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВ**

«СОБОРНОСТЬ РУССКОГО НАРОДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПЕСНЕ»:

творческий и духовный путь Виктора Гавриловича Захарченко

Он стоял у истоков нового, прекрасного преобразования музыки, которую, увлеченный, любил с детства. Он слышал напевы от матери, в станицах, на лавочках, а после, в деревнях снежной Сибири. Всё он сберег, пронес через годы, возвысил, и сегодня превращает в песню.

«Казак по рождению и воспитанию», советский и российский фольклорист и общественный деятель, исследователь народной песни, хоровой дирижёр, профессор, композитор. Художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора. Член Совета по государственной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Патриаршего Совета по культуре. Герой Труда Российской Федерации (2020), Народный артист РСФСР (1984), Народный артист Украины (1994). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2016), Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки (1991) — Виктор Гаврилович Захарченко родился 22 марта 1938 года в станице Дядьковской Кореновского района.

Студент, начавший свой творческий путь в 1960 году в Краснодарском музыкально-педагогическом училище, поступил в 1967 году в Новосибирскую государственную консерваторию

имени Михаила Глинки, в это же время работал главным хормейстером Государственного академического Сибирского русского народного хора. «Народные и духовные песни слышал с детства, впитал казачьи традиции. Невероятно сильное желание стать музыкантом было у меня всегда. Но жила во мне какая-то абсолютная внутренняя уверенность в том, что я им обязательно буду», — вспоминает Виктор Гаврилович. «Абсолютная внутренняя уверенность» привела музыканта в 1974 году к одному из главных поворотов судьбы — должности художественного руководителя и главного дирижёра Государственного академического Кубанского казачьего хора. В книге жизни композитора началась новая глава, когда не только открылся миру большой талант музыканта, но и произошло формирование личности самого творца. В это время Виктор Гаврилович выбрал направление своего духовного пути: быть защитником русской традиции, казачьей песни и православной веры. Через строки песен, которыми наполнятся грядущие десятилетия деятельности талантливого дирижёра, через личный духовный опыт явится новый, ни на кого не похожий, горящий светом веры и творческого вдохновения маэстро русской памяти и души.

Кубанский казачий хор — скромный и убедительный. Напитанный крепким духом казачьей земли сплав национальных культур — певческий казачий хор. Единственный, прекрасный оригинал в густом наполнении, звучании под умелым началом Виктора Гавриловича. Судьба промыслительно вела самородка, и его труды были вознаграждены.

Мало кто знает, но духовитый музыкант не колебался в предназначении. Наперекор журналистам, многим литераторам, старшим поколениям и сверстникам, застрявшим во внутреннем конфликте с собой, отвернувшимся от важнейших вопросов человеческого сердца. В необычных условиях, с большими усилиями, трудом, противоборством с ветрами и обстоятельствами, он создал лучшие репертуары с воскрешением характерных песен черноморских и линейных казаков, собрал золотой фонд нации. С этнографическими и редкостными сценическими костюмами, постановками фольклорных спектаклей, уникальными танцами кавказских народов, умением правдиво, самобытно выразить душевные мысли о непростой жизни труженика, его чаяниях, о вере казачества.

В 1975 и 1984 годах жюри Всесоюзных конкурсов народных хоров в Москве «дивилось» сосредоточенности, живости и неподражаемости хора казаков, сумевшего показать зрелое творческое «Я», песенным жанрам восставшего подлинной красотой певучего сердца народа. Люди, решавшие участь конкурсантов, справедливо отдавали творчеству кубанцев первенство.

Как сложилось возрождение казачьей традиции? Виктор Гаврилович, назначенный Москвой на должность художественного руководителя, вовремя подхватил распадающийся коллектив и удержал его. Набрал артистов, вложил душу, «подзавёл» сердце и постепенно сделал хор известным, народным. Получился оригинальный творческий коллектив, ставший подлинным достоянием русской культуры.

Виктор Гаврилович тщательно «вылепливал» Кубанский хор. Так художник ваяет неповторимый шедевр. Воля и упорство помогли музыканту всё учесть, чтобы послужить в своем творческом дерзновении Богу, зрителю и стране.

Именно тогда молодой художник умело, целеустремленно, с верой, с храбростью народного защитника русского песенного слова «перехитрил» время правления партийной номенклатуры. Он же ходил в глубинку, собирал в народе песни, чтобы сберечь их. Виктор Гаврилович воспринял как наследство, как уникальную культуру, понял свою миссию, осознал высшее назначение хора, заложенного протоиереем войска Черноморского Кириллом Россинским. Захарченко шел за ним, боролся за святую веру предков, поддерживая её через важнейшее на земле дело — духовное пение, и тем исцеляя народ красотой поэтичности, смысловым содержанием песни, уходящей корнями в древность. Высмотрел он у доблестного предшественника, регента Г.М. Концевича, старинную линию песнопения, усвоил изюминки организации художественных подходов, и корабль верно пошел.

Как этнограф Виктор Гаврилович трубит об исчезающих, как цвет с яблонь, народных традициях, ратует об их защите. Много размышляет, анализирует, пишет книги, издаёт. У Виктора Гавриловича природная чувствительность к обману, неприязнь к «халтуре». Он закалён с детства. Он знал трагедию всеобщего страха, с давних пор удерживаемого в народе среди тех, кто вырос без отцов и привык к нему. Он вставал на защиту веры, отстаивал казачьи песни, сохранившие духовные народные сокровища, хотя за это и наказывать могли.

Как именитый художник, музыкант Захарченко возвращает нас к духовным истокам, к духовным твердыням старины. К певческой драматургии, выраженной бессмертной силой народной души. К тому, что любит больше всего на белом свете, и чему он со школы служит.

Вспоминается, как колесил народный хор по всем дальним углам необъятной, процветающей садами и парками страны. Как стал послом мира...

Понимает наставник хора, что распространение традиционной культуры сегодня — это своевременное обеспечение национальной безопасности государства, его защита с помощью воспитания новых поколений.

За хором «потянулись» народные ансамбли. Коллектив под началом Виктора Гавриловича поднялся на высоты общественного признания. Правопреемники, вставшие на крепкие плечи родоначальников, осваивали уже большие пространства. Показывали красоту русских певческих традиций России на разных континентах мира. В заморских гаванях встречали казачий хор с хлебом и солью. Хор, как Ангел миролюбия, нёс эстетику народа-миротворца, культуру духовного просвещения. Как и вчера, сегодня, каждое выступление — долго ожидаемое торжество, праздник души.

Кубанский казачий хор воспеваёт народную любовь к Богу, храбрость в бою, отзывчивость, преданность семье, Отечеству, славному царю. Об этом верно пели предшествующие поколения певчих. Их духовную силу прочувствовал, полюбил, перенял, кровно подхватил Захарченко от предшественников и тем самым спас для последующих поколений. Современные артисты являются настоящими духовно-певческими проводниками идей родоначальников войскового хора, певческого и музыкального.

«Вот сейчас мы с вами поём песню “Русские мы”, да. Вот смотрите, что значит менталитет русского народа. Это готовность сразу, в одночасье, в одну секунду, если это потребуется, сложить голову свою за Отчизну, за Родину. Если для меня и для Кубанского казачьего хора важно не то, как мы поём, с точки зрения красоты голоса, костюмов, внешних каких-то добавлений. Очень важно, о чём мы поём», — откровенно говорит в одном из интервью Виктор Гаврилович. И добавляет: «Хочется, чтобы

каждый слушатель и зритель понимал, о чём мы поём. Соборность русского народа проявляется в этой песне, потом проявится ещё в других песнях, которые поёт Кубанский казачий хор. Там же есть вопросы: — Кто вы? — Русские мы. — Сколько вас? — Тьмы и тьмы, все народы Руси и племена! — ничего себе ответ?! — Вот, что такое русский народ. Он соборный! Он не заикливается только на себе, он вбирает в себя всех и вся. Это очень важно. И потом из всех сёл, из станиц, мы собрались со всей большой Руси...»

Предки наши веру христианскую, сплочённость, победы, в войнах добытые, свято чтит. Это достопамятно вошло в народную мудрость. Грустью, радостью воплотилось в песню. Перпевали их из поколения в поколение, веровали соборно, и тем не скончалась сила. Эту характерную генетическую психологию народа знали. Кубанский казачий хор во главе с маэстро Захарченко — это хранитель и проповедник народных песен, фольклора. Песни призывают нас вернуть одухотворённость времен старины, когда дух был свободен.

Бессменный рулевой по-отцовски и без размышления полагает жизнь свою за идеалы Отечества. Перерыва в трудах не делает, ибо для него и для хора предания, подвиги Руси, как воды родниковые священной реки, которые прозрачно текут под звоны колоколов, орошают молодые всходы. Артисты рассказывают нам исторические события, переживания, бережно сохранённые поэтом. А мы наслаждаемся характером исполнительства, им разработанного и усвоенного хором. Виктор Гаврилович «слышит» то, что не всегда услышат другие — музыку сердца. Он умеет эти звуки, доносимые ему Небесным предвестником, преобразовывать, набрасывать на нотный стан. И эту удивительную песенность, внутреннее состояние своей души, переносит на бумагу.

Виктор Гаврилович знает, что крепостью культур, станичной, казачьей песней, народной поэзией А.С. Пушкина, С.А. Есенина,

Ю.П. Кузнецова, положенных на музыку, какую раньше сочиняли такие творцы, как М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Г.В. Свиридов, Д.Д. Шостакович, естественно воздвигается оборона духовных твердынь в сердцах молодежи, настоящая народная безопасность.

Руководитель старейшего хора провозглашает истину: Россия — культурная, Православная держава. Она должна всегда помнить пять свои национальные песни. Десятилетиями академический коллектив является живым знаменем культурной Кубани.

Постановками содержательных сценических образов, этнических танцев, характерных запевов и артистической индивидуальностью в голосах, в перевоплощениях — вот чем завораживает хор зрителей. От первой и до последней строки стихов, от близкой народному стилю аранжировки, от гармоничной певучести смешанного хора, от утонченно-изящной манеры исполнения произведений и еще много от чего зависит успех выступления. На репетициях ху-друк знает всегда, что требуется на выходе, как этого достичь.

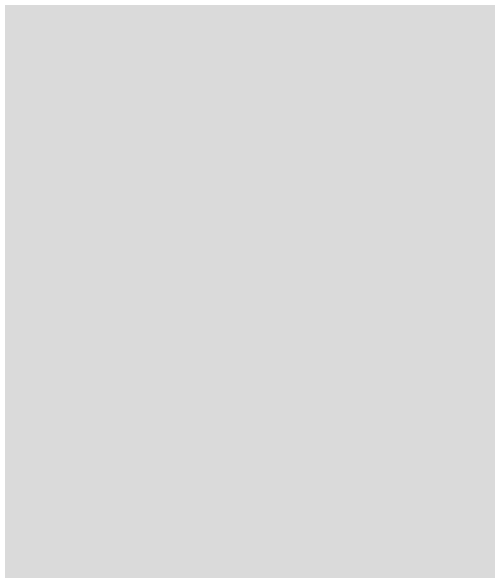
Как предвосхитить реакцию залов? Как верно понять задачи смешанного хора? Как ровно и стабильно соблюдать поочередность, уместность, последовательность песен, учитывать их ритм, энергетику? Как их расставить в частях концерта, чтобы получалось цельно? Как выстроить это созвучие в тематическом репертуаре гармонично? Это не столько наука, сколько дар, которому не научиться.

Композитор воссоздал певческий национальный академический театр. Возродил, оживил почвенные традиции предков. Сберег преемственность поколений, придал хору стиль, новый духовный импульс. Своим творчеством он подчеркивает песенную красноречивость и оригинальность исполнения казачьего слова. Виктор Гаврилович возродил церковное пение, закрепил линию развития. Он служит русскому культурному наследию, верит, что его воспитанники, русские музыканты, артисты выстоят

в «схватке» за сохранение русской культурной традиции, православной русской души. Выступающий, дирижирующий с первого ряда — человек невысокий, в синем костюме, белой рубашке, с ладно поставленной красивой головой, светлым лицом, с высоким благородным лбом философа, с горящими молодостью лучистыми сосредоточенными глазами мудреца. Виктор Гаврилович, сочинитель национальной музыки для смешанных хоров, в созвучии живущих в его огромном сердце с рождения песен и обрядности силами творчества, порученного ему хора, возвращает народ в родовое русло. Уверенно и бесстрашно защищает то, что ему дорого.

Творческие заслуги маэстро отмечены в 2022 году особенной наградой — Герой Труда Российской Федерации. Эта высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом свидетельствует о ценности творческого пути Виктора Гавриловича Захарченко и подчеркивает весомость его личностного труда для сохранения таинства казачьей песни и духовности русской культуры.

Мы понимаем, какое значение имеет творчество Кубанского казачьего хора, заслужившего национальное и мировое признание. Это сила, песней ведущая диалог культур. Действо песни несет собой мир, сочувствием укрепляет добрососедские отношения. Кубанский казачий хор много лет — добрый Ангел миротворчества, и Виктор Гаврилович Захарченко — истинный Орфей православной души.



АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ

Родился в 1967 в Новосибирске. Профессор филологии, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ. Автор книг «Пути новейшей русской прозы», «Апология литературы», «Дионис и декаданс» и др. Публиковался в «Литературной газете», «Вопросах литератур», «Литературной России», «Нашем современнике».

УВЕЛИЧИВАЯ ГЛУБИНУ

О новой книге Олега Мороза

Юрий Козлов и Олег Мороз — идеальная встреча писателя и литературоведа. Что сближает и даже роднит? Герметичность повествования, отказ от чувственных катарсисов, ставка на интеллектуальную двойственность события. Духовно-политический концептуализм, пребывание на дальних рубежах смысла, в облегченной форме это можно назвать — подтекстами третьего или четвертого уровней. Уважение к мысли как главному ресурсу повествования. Судьба России здесь лейтмотив, но без четкого соотношения с тем или иным сформированным флангом — отказ от официальных эпосов и систематизаций, от «неопатриотизма» или «либерализма». Выбор поэтики неочевидных сюжетов. Роман должен быть сложным! А научное слово о нем — еще сложнее!

Восторг структурирования сюжетов современной власти, ее амбивалентной харизмы и апокалипсисов — это Козлов. Восторг усложнения созданной структуры, ее контекстуального разъяснения, и власть над художественным текстом — это восторг Мороза. Оба далеки от мысли понравиться читателю, бежать в солнечном пространстве за числом потенциальных собеседников, добежать да массовой культуры. Ставку на одиночество мастера словесности, на обреченность не быть услышанным и понятым нахожу и у Козлова, и у Мороза. Как бы не совсем роман — это Юрий Вильямович. Не только литературоведение — это Олег Николаевич.

«Писательство — это существование на границе миров, на границе, на которой реальный и виртуальный миры действуют, разом и сообща, и порознь; пограничное существование, заостряющее — до боли — парадоксальное ощущение расколотой полноты человеческого бытия. Но еще — и способ существования, выступающий проекцией сознания писателя и его отношений с действительностью и самим собой», — лишь одна цитата из рецензируемой монографии. Почувствуйте стиль!

Постмодернист ли Юрий Козлов? Христианин ли он? Борец с гностицизмом или сам гностик? Историсоф или специалист-технолог политических сюжетов? Олег Мороз идет к однозначным ответам: не постмодернист, христианин, разоблачитель гностических атак, философ истории, конечно, в литературный форме. Вот только добивается до этих ответов такими сложными, извилистыми путями, так честно и много выдает информации о противоречиях, что вопросы никуда не исчезают даже тогда, когда вроде бы итоги подведены. И как-то сразу слышишь речь Владимира Бондаренко о Козлове-русском постмодернисте («Литературная газета», 2012, № 36). Видишь, что его христианство слишком теоретично и не очень нуждается в присутствии Иисуса. А взаимодействие с гностиками так масштабно, что уже и не знаешь: воюет с ними автор или перекликается. Историсофия? Она у Соловьева и Бердяева, Проханова, Быкова и даже у Пелевина с Сорокиным, у Шарова с Крусановым. В принципе, согласен с Морозом, когда он делает историсофию («историсофские аспекты») ключевым словом своей книги. Однако в процессе чтения выплывают уже из моего воспринимающего сознания иные определения: апокалиптика, мифопоэтика сюжетов власти, художественная конспирология. Или отчет ревизора-интеллектуала, нагрянувшего с проверкой к высшему российскому чиновничеству, способного выстраивать связи между Сталиным и смертью, Гитлером и будущими правителями.

В этой двойственности (борешься с тем, что крепко сидит в тебе самом) один из главных законов прозы Козлова. Мороз готов работать со всей парадигмой его текстов. Но на первом плане оказываются четыре. Роман «Колодец пророков», повесть «Белая Буква». В меньшей степени роман «Враждебный портной», тут глава длится всего 15 страниц. И роман «Новый вор», повествование о котором занимает 78 страниц и, как

мне кажется, является сильнейшим участком книги.

Основа постмодернизма даже не в том, что мир — это текст (об этом напоминает Олег Николаевич), а в ином: прекрасно понимая неотменимую реальность реальности, текст начинает претендовать на «надцатый» ее уровень. Текст стремится вроде как факультативное (нечто с дальних берегов) рассматривать как главное событие — не фабулы жизни, а пространства самой речи. Именно поэтому уже во Введении Юрий Козлов (пусть у него и не мир-текст, как считает Мороз) оказывается одновременно возле Данте и Павича. А «Божественная Комедия» и «Хазарский словарь» предстают примерами «абсолютного текста», имплицитного для литературы священного писания, притягивающего на решение ключевых вопросов. С одной стороны, герои козловских романов, повестей и рассказов одержимы обретением «абсолютного текста». С другой, сами произведения Козлова (прежде всего, в интерпретации Мороза) приближаются к всеразъясняющему «абсолютному тексту». Постмодернизмом это называть совсем необязательно, да вот контакты с ним — налицо.

Действительно, о циничных гностиках автором «Колодца пророков» и «Нового вора» сказано прилично, с сарказмом противника, а не соратника. Вместе с тем гностицизм не только в отождествлении дьявола с материей, в пылающей мечте о последней катастрофе телесного мироздания. Гностицизм в разных сферах творческой и научной гуманитаристики — это отказ от простоты, от старой, доброй эпической фабульности и простосюжетности ради дерзкой виртуализации сюжета, сложнейших риторических формул и неочевидных, субъективных интерпретаций. Ради построения мощных и при этом не слишком обязательных контекстов, размывающих понятное тело повествования. К чему это я? А к тому, что в моем восприятии Юрий Козлов все-таки гностический писатель, не имеющей ни малейшего отношения к художественному воспроизведению природы, повседневной жизни, пьянящей нормальности человеческого естества. И к тому, что Олег Мороз — литературовед неогностического пафоса, с верой в конструктивную силу парадоксальной интерпретации и необходимость катарсиса, который удаляется от древних, классических, дионисовых чувств к

высокой платоновской рациональности, к идейности и полноте мировоззренческой речи.

С этим тесно связан иной вопрос: почему Козлова читают относительно мало и не издают в монстрах-монополистах, в АСТ и ЭКСМО? Мороз, думаю, учитывает присутствие этого вопроса. «Ассоциативно-метафорическая ажурность тяжеловесной сюжетно-композиционной структуры романа», — сказано им о поэтике «Нового вора». Здесь сразу двойная тяжесть, и она действительно есть: «метафорическая ажурность» и тяжелая структура. Кстати, книга Мороза вышеприведенной аттестации полностью соответствует.

Теперь о главном — и о методе Юрия Козлова, и об устройстве российской власти. В первой главе, посвященной роману «Колодец пророков», Олег Мороз справедливо подчеркивает, что генерал Толстой содействует приближению царства Антихриста и одновременно не допускает его воцарения. Что это за движение? Третья глава — о повести «Белая Буква». Здесь много интересного (иногда уже и не поймешь — Козловым или увеличивающим глубину Морозом) сказано о феномене российской власти как «радости через силу». В мыслях писателя Объемова Ленин, Сталин, как-то особо настойчиво Гитлер и тоталитарные вожди апокалиптического толка, и лики многозначной Смерти, которая заставляет человека (прежде всего, Чиновника) постоянно ощущать временность своих безобразий и ощущать вполне религиозную ответственность за содеянное.

В четвертой главе (она о «Новом воре») Олег Мороз подробно, не экономя слов, представляет важнейшую из картин прозы Козлова — аналитический портрет чиновничества. Здесь нет никакого оптимизма по поводу усиления российского присутствия в решении проблем 21 столетия. Господин Чиновник находится в поистине уникальной ситуации: он категорически не любит Россию вместе со всеми ее архетипами, и значительно лучше относится к Западу с его комфортом и расслабляющим либерализмом; но тот же чиновник вынужден не только защищать Россию, но как бы сливаться, отождествляться с ней, потому что здесь хранится вся его собственность, все заработанное и награбленное. Более того, сама Россия вместе со все-

ми своими архетипами стала собственностью «нового вора» (символическая фигура управленцев последних десятилетий). В этом ключевой парадокс «неопатриотизма», который ощущает интеллигенция.

Козлов силою прозы и Мороз качеством филологии рационализируют это ощущение, резко нагнетают тревогу. Россия — на страшном пути, потому что государственная элита не имеет искренних чувств к ее судьбе, но причастна стране лишь корыстным умом. Тем самым умом, в котором есть и тяжкий житейский прагматизм, и особый мистицизм, вызванный необходимостью уничтожать то, что принимаешь (Запад) и отстаивать то, что не любишь (Родину).

При таких условиях «религиозная сущность нового чиновничества» отнюдь не православие. Да, конечно, с риторикой русского христианства, с должным ритуализмом, с цитированием Писания все обстоит понятно как — внешне и громогласно. Беда в том, что сердце власти свободно от новозаветных интуиций, за цитированием — поистине постмодернистская текстовость, а не готовность жертвовать и любить. Олег Мороз много пишет о том, как Юрий Козлов выявляет дыры в том пространстве, где должна жить и действовать любовь.

Так каково же мировоззрение отечественного чиновничества, ответственного за постоянное приближение Антихриста к нашим берегам? Олег Мороз называет это мировоззрение катаризмом и рассуждает о данной проблеме многостранично. Автор монографии удивил меня детализированным погружением не просто в проблемы гностического мировоззрения, а непосредственно в роль средневековых катаров в построении духовно-политических систем иных эпох.

Такой прием могу назвать усилением и централизацией возможного контекста. Противотелесность и противощерковность, пламенный антигуманизм и подсознательная склонность к небытию исторических катар использованы Морозом для создания магистрального сюжета четвертой главы (о «Новом воре») о сильнодействующем архетипе, всегда (и особенно сейчас) угрожающем миру. «Легенда о Великом инквизиторе», теория и практика Третьего рейха, Евросоюз и наш «неопатриотизм» оказываются в поле действия катаризма, его исторического и литературного становления в символической фигуре апокалиптического

молота.

Не слишком подробно, но очень уверенно Олег Мороз пишет о современном Западе, который вернулся от национал-социализма середины 20 века к капитализму. И этот вполне мистический капитализм, по замыслу его стратегов, должен иначе воплотить в жизнь план Гитлера по разделению мира на «нацию господ» и «нацию рабов». В образе Герхарда, одного из главных героев «Вора», этот план становится очевидной риторикой и по всем признакам сектантской прагматикой. Беда, правда, в ином: Мороз, интерпретируя Козлова, показывает, что стратегическим соратником (разумеется, не в слове, а в деле) господина Герхарда являются российские неопатриоты. Все три их плана, обсуждаемые и в романе, и в монографии («город-крепость», Россия — аморфная конфедерация и «вождизм»), Мороз объявляет воплощением «человеческо-ненавистнического дуализма катаров», а гностицизм — «самым нервом историософской концепции писателя». Катаризм оказывается и тоталитарным, и имплицитным, и повсеместным. Главное, не побежденным в 13 столетии.

Но я позволю себе повториться: разоблачая гностический вектор, Юрий Козлов не выглядит полностью свободным от его влияния. В 2010 году начинал читать Козлова с «Почтовой рыбы», через два года пришел роман «sBOбoDA» и уже потом классика — роман «Колодец пророков». Скажу, что эти тексты не показались мне христианскими; я их принял как часто встречающийся в новейшей литературе апокалипсис без эсхатологической победы Бога, без воскрешения и Небесного Иерусалима. «Белая Буква» и «Новый вор», пожалуй, укрепили эту позицию — внехристианская апокалиптика с центром тяжести в области технологий властных элит, ее безблагодатной поэтики.

Олег Мороз склонен максимально сближать мир Юрия Козлова с христианством — и через Достоевского с «Братьями Карамазовыми», и в соотнесении с византийским житием человека Божия Алексия. Об этом в монографии сказано много интересного. Но где у Козлова Христос? Его, похоже, нет. Разумеется, я не о каком-то специальном воплощении — больше о евангельских интуициях, о духе Нагорной проповеди, о богословии «Евангелия от Иоанна». Скорее, в твор-

честве Юрия Козлова обнаруживаю авторский апокриф — свободный от христианского канона сюжет о разнообразии антихристовых личин, о катаризме как платформе присутствующего гностицизма и отсутствующего Иисуса. Мрачный, свободный от горячих чувств и сердечного пафоса мир «Колодца пророков» или «Нового вора», думаю, подтверждает мою догадку: во всех произведениях присутствует Антихрист, но отсутствует Христос; любовь где-то далеко, а вот не-любовь постоянно в прозаическом кадре.

У меня здесь есть свое объяснение. Безусловно, как состоявшийся писатель с глубинно субъективным миром, Юрий Козлов уникален, что книга Олега Мороза качественно доказывает. Но тут уже я построю свой контекст. Еще в юности приходилось встречать, и довольно часто, многих «физиков» (математиков, химиков и других технарей), буквально одержимых «лирикой» (философией, литературой, конспирологией). В позднесоветское время меня тревожила их тоска — от необходимости заниматься и скромно зарабатывать одним, а ум и сердце посвящать совершенно иному. В этой среде «технической» интеллигенции было много апокалиптики без Христа и рая (часто она восходила к «Мастеру и Маргарите»), звучали жаркие слова о каких-то найденных ключах от замков, скрывающих решение универсальных, поистине масштабных проблем. Они не были постмодернистами, но при этом шла бесконечная игра с интерпретациями, версиями и фантазийной футурологией. Любви в речах было мало, вместо нее — особая нервная суровость, изможденность от недоволенной мысли, неумение выйти из интеллектуальных тупиков в мир живых эмоций. Иногда мне кажется, что субъекты повествования в прозе Козлова говорят от лица именно этих людей. Для них Библия волне могла быть «гиперроманом», как и для одного важного персонажа из «Колодца пророков».

О близких сюжетах сигналил и судьба писателя Объемова из «Белой Буквы». О не-любви и ее последствиях. Когда повесть была опубликована, ко мне обратился Александр Казинцев с просьбой написать о ней. С интересом погрузился в плотный, перенасыщенный разными знаками текст (считаю «Белую Букву» самым сильным произведением Козлова) и написал для «Нашего современника» (2018, № 7). Стремился принци-

пиально разъяснить и, возможно, адаптировать для потенциального читателя данный вариант «обломовского мифа», сделав акцент на безволии и вырождении стареющего русского писателя советской закалки, на апокалиптических мотивах и связанной с ними фигурой Гитлера.

Олег Мороз идет совершенно другим путем — не облегчая, а наращивая смысловую конструкцию замечательной повести. С захватом и доведением до целостности судеб всех как бы периферийных героев. С большим вниманием к женским образам и самому женскому началу в мире Козлова как значимой форме воссоздания историософского сюжета. С солидно разрастающимися контекстами — прежде всего, это рассуждения Ивана Карамазова об Иоанне Милостивом; находится место и для платоновского «Чевенгура», и для «Жития Алексия». В самом начале третьей главы сообщается о переключке «Белой Буквы» с «Улиссом». По мысли Мороза, художественный мир не может быть легким.

Не может быть стандартным, лишь подводящим итоги, и 30-страничное Заключение. Стартовав здесь с погружения в теоретическую проблему «романа-голограммы» и «гиперромана», автор переходит к Хорхе Луису Борхесу. Аргентинский писатель становится главным героем последних страниц, заключительным этапом помощи в понимании мира Юрия Козлова, лицом художественного метода «Колодца пророков» или «Нового вора».

Меня тоже интересует тема «Козлов и Борхес», как и поиск ответа на вопрос, почему автор «Сада расходящихся тропок» подчинил себе многое в современной литературе, философии и психологии, а слава нашего писателя остается все же локальной. Борхес — легкий: в лаконичных объемах своих текстов, в выдвижении ярких версий, в постоянной мягкой иронии, в отсутствии интереса к политике и технологии актуальной власти, в отстранении авторского Я от боли и трагедии. Борхес — праздник литературности: отстраняясь от любой религиозности, аргентинец превыше всего ценит «Божественную Комедию» и готов славить христианское богословие как лучший пример «фантастической литературы». Козлов — тяжелый до «реализма», публицистичности и пророчеств: в тяготении к большому,

многостраничным романам, в недопущении смехового начала (сарказм есть, конечно), в переживании политических сюжетов и разных «неопатриотизмов» как смертельных, а не социальных проблем.

Разный гностицизм нахожу у Борхеса и Козлова. Первый — мастер словесности, получающий герметическое удовольствие от интеллектуальных игр; созерцатель и летописец многих виртуальных апокалипсисов, умеющий провоцировать их уплотнение; впрочем, и безболезненное исчезновение. Второй — действующий апокалиптик в контексте большого настоящего времени; человек, знающий, что типологии (например, фашизм — Евросоюз) имеют отношение не к тексту, а к судьбе России, ее будущему, которое висит на волоске.

Козлов мог бы стать одним из героев Борхеса. Как Пьер Менар или Рутенберг из «Трех версий предательства Иуды». Да и монография Мороза порою представляется мне весьма расширившимся борхесовским рассказом, потерявшим необязательный характер переживаний о мире и его исчезновении. Здесь все серьезно и, как говорят молодые, — жестко. Ибо политики владеют миром, а политиками, их сознанием, планами и конечностью владеют два человека — писатель и филолог.

Юрий Козлов — это о власти. Олег Мороз — это о власти над текстом.